

ЕВГЕНИЙ САЛИАС ТУРНЕМИР

ПЕТЕРБУРГСКОЕ
ДЕЙСТВО. ТОМ 2

Россия державная

Евгений Салиас де Турнемир
Петербургское действо. Том 2

«Public Domain»

2010

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)

Салиас де Турнемир Е. А.

Петербургское действо. Том 2 / Е. А. Салиас де Турнемир —
«Public Domain», 2010 — (Россия державная)

ISBN 978-5-486-03333-9

Имя русского романиста Евгения Андреевича Салиаса де Турнемир (1840–1908), известного современникам как граф Салиас, было забыто на долгие послеоктябрьские годы. Мастер остросюжетного историко-авантюрного повествования, отразивший в своем творчестве бурный XVIII век, он внес в историческую беллетристику собственное понимание событий. Основанные на неофициальных источниках, на знании семейных архивов и преданий, его произведения – это соприкосновение с подлинной, живой жизнью. Роман «Петербургское действо», окончание которого публикуется в данном томе, раскрывает всю подноготную гвардейского заговора 1762 года, возведшего на престол Екатерину II.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)

ISBN 978-5-486-03333-9

© Салиас де Турнемир Е. А., 2010
© Public Domain, 2010

Содержание

Часть вторая	6
XXI	6
XXII	10
XXIII	14
XXIV	17
XXV	22
XXVI	26
XXVII	29
XXVIII	32
XXIX	36
XXX	40
XXXI	45
XXXII	48
XXXIII	52
XXXIV	55
Конец ознакомительного фрагмента.	57

Евгений Салиас де Турнемир

Петербургское действо. Том 2

© ООО ТД «Издательство Мир книги», оформление, 2010

© ООО «РИЦ Литература», 2010

Часть вторая (окончание)

XXI

Когда Гольц прощался с графиней, к дому ее подъехал Иоанн Иоаннович. Узнав, что у внучки сидит знаменитый посланник фридриховский, самая важная птица в Петербурге, по отзыву многих приближенных государя, Иоанн Иоаннович, давно собиравшийся посетить больного внука, прошел покуда наверх.

Русский лакей доложил о старом графе Эдуарду.

Француз вышел из комнаты больного, встретил старика крайне недружелюбно и объяснил, ломая русский язык, что больного видеть хотя можно, но доктор просил не тревожить его долгой беседой.

Иоанн Иоаннович вошел в полутемную горницу и, сделав два шага, огляделся, фыркнул и вымолвил:

– Ишь, как закупорили. Бояться, выдохнется душа. Да в такой вонии и здоровый помрет.

Затем он приблизился к кровати.

Граф Кирилл Петрович медленно повернулся к деду лицом, узнал его сразу и произнес довольно бодрым голосом:

– Здравствуйте, дедушка, садитесь, давно не видал.

– Давно, давно, внучек. Успел ты за это время совсем... Скоро того... скоро тю-тю!

Иоанн Иоаннович опустил в большое кресло, стоявшее у постели, и стал во все глаза молча глядеть в лицо больного.

– Хороший день... выбрали, дедушка. Сегодня... я – молодец.

Иоанн Иоаннович покачал головой, усмехнулся и вымолвил:

– Хорош молодец, уж нечего сказать. Кабы все-то были этикие молодцы на свете, так земля бы, внучек, одна вертелась теперь вокруг солнца, пустопорожняя, человеков бы на ней и помину не было. Разве зверье какое жило бы, потому что зверь умнее человека. Хотя бы пес, хотя бы свинья, хотя бы даже гад какой живут по-божьему, а мы, люди, – по-звериному, по-дурашному.

Иоанн Иоаннович помолчал и продолжал снова:

– То-то вот, внучонок, путифиц ты мой, как я тебя кощатось звал: кабы ты не родился в этранже или бы тогда у меня остался, так теперь бы, поди, не был ногой в гробу. Что тебе лет-то? Втрое меньше моего! А каков ты? Вишь, глаза-то, как у мертвеца. У меня в твои годы было десять жен, не хуже, как у царьградского султана, а у тебя вот одна жена, да и та, вдовушка-цыганочка, скучает от одиночества, ждет не дождется, когда тебя за ноги стащат в яму. Тогда она свеженького себе мужа раздобудет. Что скажешь? Небось не нравится... То-то, путифиц!!

Но граф Кирилл Петрович ничего не говорил, даже губами не двинул; он смотрел на старого деда, бодрого, веселого, с легким румянцем на щеках, и спрашивал себя: «Неужели деду уже за семьдесят лет, а может быть, и более?»

И он, человек молодой годами, а совершенный старик телом и лицом, невольно позавидовал мысленно старому деду. И раздраженному больному мозгу Кирилла Петровича стало сниться наяву, мерещиться... Ему показалось, что это не дед Иоанн Иоаннович сидит перед ним, а деревянная кукла, которая всегда на свете существовала, и при Петре Алексеевиче была

она такая же, и теперь такая же, и через сто лет эта кукла будет все та же. И под влиянием полубреда больной закрыл глаза и прошептал что-то бессвязное.

Эдуард, стоявший у стены, двинулся вперед и объяснил Иоанну Иоанновичу наполовину русскими словами, наполовину мимикой, что больной в забытии и что ему лучше уходить.

Иоанн Иоаннович поднялся, поглядел еще раз в изможденное и желтое лицо больного, покачал головой и вышел вон. За порогом горницы он невольно плюнул на пол и вымолвил:

– Тьфу, Создатель, вонь какая! Коли бы все эти скляночки опорожнить, так и я помру.

Лотхен между тем уже успела предупредить барыню, что дедушка спрашивал о ней, а теперь покуда пошел наверх к больному. Маргарита вдруг воскликнула и удивила горничную:

– Не пускай его... Поздно! Теперь он мне не нужен!

Но это была странная вспышка молодой женщины. У нее действительно голова еще кружилась от беседы с ловким и хитрым Гольцем.

Этим же словами Маргарите будто невольно захотелось вдруг похвастать перед собой и перед субреткой.

Но тотчас же, по какому-то внезапному обороту мыслей, графиня вздохнула и выговорила:

– Ох нет! Нельзя гнать. Напротив, он нужнее, чем когда-либо! Ах, Лотхен, если б у меня были теперь большие, большие деньги... Что бы я могла сделать!

– Во-первых, долги уплатить, – подсмеивалась Лотхен.

– Нет, напротив... тогда бы можно их и не платить совсем, – серьезно ответила Маргарита как бы себе самой. – Он наверху давно? – прибавила она. – Скоро сойдет... Ну, Лотхен, слушай... Мне, как полководцу, надо обдумать и решиться на генеральное сражение... Завтра же или на днях у меня должны быть деньги, иначе все пропало... потому что я начинаю новую жизнь... Боже мой! Да когда же он там умрет, наконец! – вдруг воскликнула она искренне, поднимая глаза наверх, где была комната мужа.

Графиня, подумав, приказала любимице впустить деда, когда он сойдет от больного, самой не входить к ней и смотреть за тем, чтобы не принимали никого. Затем она выпроводила Лотхен, вошла в свою красивую полуспальню с куполом и, приотворив дверь в гостиную, начала быстро раздеваться. Через несколько мгновений Маргарита сидела в сорочке перед зеркалом туалета и, расчесывая свои длинные и густые волосы, обсыпала мягкими и волнистыми косами свои снежно-белые и замечательно красивые плечи. Изредка она прислушивалась и зорко взглядывала в зеркало, где отражалась полурастворенная дверь в гостиную...

Наконец дверь из прихожей отворилась, послышались ровные и тяжелые шаги...

Иоанн Иоаннович вошел в гостиную; не найдя никого, он постоял немного среди горницы и, сделав еще несколько шагов, сразу увидел в растворенную дверь Маргариту, полураздетую и сидящую перед туалетом... Она казалась глубоко погруженной в свою думу; голова с распущенными по обнаженным плечам волосами грациозно наклонилась набок, глаза были опущены... Иоанн Иоаннович постоял, вздохнул как-то особенно, будто переводя дыхание от усталости, и едва заметно покачал головой...

«Да! Этаким за всю свою жизнь не видал! – подумал он. – На картинах таких пишут...»

И вдруг Скабронский бросил шапку и палку на диван и подошел к дверям:

– Маргарита, можно войти?.. Ведь уж все одно... Уж видел... – крикнул он через дверь, стараясь придать голосу шуточный оттенок.

Графиня молчала и не двигалась и, по-видимому, не слыхала слов: так глубока была ее дума.

Иоанн Иоаннович тихо, на цыпочках двинулся в горницу и приблизился к красавице...

Маргарита давно следила за всеми движениями старика, но очнулась и вскрикнула, когда губы его коснулись ее обнаженной спины...

– Испугал! – рассмеялся Скабронский искусственным смехом, будто насильно. – Ништо! А ты двери затворяй в другой раз...

– Ах, бабушка... Как не стыдно! Вот, говорят, молодежь дерзка с женщинами, а старики? Тоже хороши!

– А ты двери, говорю, затворяй. Вперед наука... Теперь уж не уйду, хоть убей!

– Вошли, так садитесь. Что ж с вами делать!

Скабронский сел близ туалета и, не спуская глаз с красавицы, жадно любовался ею.

Прошло несколько минут молчания. Маргарита причесывалась.

– Если бы такая, как ты... только пожелала бы... – пробурчал вдруг Скабронский. – Какие вотчины тут? Душу отдашь!

– Я спешу ехать по очень важному поручению Гольца, – выговорила Маргарита. – Беседовать не могу. Уходите теперь, бабушка. Мне надо сейчас одеваться...

– Ну что ж? Я не мешаю... Пожалуй, даже помогу тебе... Ты вообрази, что я – не я, а энта, твоя верченая Лотхен.

Маргарита рассмеялась звонко. Старик будто сам давался в руки.

– Отлично! Это будет вам в наказание за дерзость. Ну, старая Лотхен. Становись... Держи вот...

Маргарита взяла половину своих еще распущенных волос и подняла... Старик стал за нею и, взяв волосы в руки, начал поддерживать.

– Господи, какие... Ей-богу, шелковые!..

– Молчи, Лотхен! Ты забыла, что я не люблю, чтобы болтали, покуда я одеваюсь! – смеясь, вымолвила Маргарита.

И Скабронский стал молча, не спуская глаз с плеч красавицы.

– Ну, готово... – сказала она наконец. – Ну, теперь, Лотхен, чистые чулки вон там в комод, направо... Башмаки должны быть вот тут, у дивана. Ну, скорее.

Иоанн Иоаннович на рысах разыскал и то и другое...

Лицо его странно улыбалось, краска уже давно выступила на лице и не сходила с гладких щек бодрого старика. Он поставил башмаки на пол и подал Маргарите розовые шелковые чулки...

Маргарита, сидя, приподняла край юбки и протянула ему одну ножку...

– Ну, что же, Лотхен? Дела своего не знаешь! Становись на пол и меняй... Снимай чулок...

Иоанн Иоаннович молча опустил с некоторым усилием на колени, нагнулся и потянул чулок с пальцев.

– Так нельзя снять! – странно произнесла Маргарита.

Прошло несколько мгновений... Одна подвязка и один чулок были сняты!..

– Хорошо, но скорее... другой!.. – как-то раздражительно, злобно усмехнулась Маргарита.

– Нет... родная... – тихо произнес вдруг Скабронский. – Не могу... Помрешь...

И старик, стоявший перед красавицей на коленях, закачался и вдруг схватил ее за руки, будто удерживаясь от падения... И, уронив голову на ее руки и колени, он прижался к ним горячей головой.

Маргарита будто замерла вдруг и сидела неподвижно как статуя. Она огненным взором глядела на эту лежащую у нее на коленях седую и лохматую голову, и лицо ее стало вдруг слегка бледно, зловеще-жестоко и злобно. Если бы Сатана когда-либо воплотился в женщину-красавицу, то принял бы, конечно, это лицо и это выражение.

– Уезжайте... – вымолвила вдруг Маргарита глухо.

Иоанн Иоаннович будто ждал этого слова и нуждался в нем... Он поднялся и не оглядываясь, не прощаясь быстро вышел вон. Через минуту он отъезжал от дому.

Маргарита осталась в том же кресле полуодетая, с одной обнаженной ногой и с тем же выражением сатанинской злобы. И снова сидела она недвижима, нема и красива – как статуя...

Через час, когда она, одетая совсем, молчаливая, но уже грустная, а не злая, вышла садиться в карету, в передней явился с заднего хода дворецкий деда, Масей, и передал графине цидулю и большой сундучок, окованный серебром... Маргарита вернулась в комнаты. Сундучок был полон бриллиантов на громадную сумму.

Вместе с ними лежал кошелек, и в нем тысяча новеньких, будто собранных по одному, червонцев. В записке стояло только несколько слов:

«Посылаю, что накопил, когда собирался жениться. Бери все себе, продувная цыганка... но и меня в придачу!»

Маргарита пристально смотрела на великолепные крупные бриллианты, но лицо ее было все-таки сумрачно и все-таки мгновениями освещалось, будто молнией, какими-то порывами гнева и злобы...

XXII

Близ Синего моста, между Мойкой и Большой Морской, среди небольшого сада, стоял деревянный дом с подъездом, выходившим на Мойку. Над дверями была маленькая вывеска:

Бриллиантщик Иеремия Позье

Человек, который уже давно жил в этом доме, был отчасти замечательной личностью. Швейцарец, родом из Женевы, он был одним из тех иностранцев, которые являлись в Россию как бы в своего рода Калифорнию, чтобы, не имея ни гроша, составить себе большое состояние. Когда цель была достигнута, то они покидали русскую землю не только с благодарностью, но отрясая прах от ног своих. Впрочем, бриллиантщик Позье не был вполне похож на остальных, ему подобных иностранных пришельцев.

В 1729 году, в царствование Петра II, швейцарец Степан Позье явился в Россию вместе с тринадцатилетним сыном, Иеремиею. Брат его, Петр Позье, был хирургом еще при дворе Петра Великого.

По вызову брата перебраться в новую обетованную землю, где легка нажива, Позье, отец и сын, двинулись из Женевы и, не имея, конечно, никаких средств, пустились в путь пешком. И, таким образом, долго странствуя, они прошли пешком всю Европу, в Гамбурге сели на корабль и явились в Петербург. Двор оказался в Москве. Пришлось опять двинуться далее. Достав извозчика, иностранцы положили на него свой маленький скарб, а сами снова пешком, только изредка присаживаясь, шесть недель двигались от Петербурга до Москвы.

С самого начала счастье им не улыбнулось: за неделю до их прибытия страшный пожар опустошил Москву; Петр Позье погорел тоже и не мог приютить родных. Отец и сын нанялись поневоле в услужение к француз, который был назначен комендантом в город Архангельск, и тотчас же они принуждены были последовать за ним опять в дальний путь и очутиться после швейцарского климата в страшных морозах Крайнего Севера.

Вскоре комендант-француз, любивший покутить, спился с круга и умер. Степан Позье вместе с мальчиком снова пешком вернулись в Петербург. Но здоровье старика после всех этих странствований не устояло, и он через несколько времени умер на руках пятнадцатилетнего мальчика, оставляемого почти на произвол судьбы.

По счастью, у дяди нашелся знакомый бриллиантщик Граверо. Юный Иеремия поступил к нему в ученики и принялся за дело с жаром, с горячностью артиста, так как в нем вдруг оказался большой талант. Не прошло пяти лет, как Позье был уже известен по своим работам, но, кроме того, будучи еще только двадцатилетним юношей, приобрел себе уже известное положение при дворе. Случилось это очень просто.

Бриллиантщик Граверо, как и большая часть иностранцев, через меру полюбил российскую сивуху. Заказов у него было много, и главные заказы шли из дворца. Анна Иоанновна любила всякого рода золотые вещи, любила даже глядеть, как их делают. Иногда государыня не доверяла в руки иностранца ценные, коронные вещи и заставляла Граверо с учеником работать во дворце, в маленькой горнице, около своего кабинета.

Граверо, кутивший не в меру, все чаще и чаще отсутствовал, посылая своего ученика одного; таким образом, Иеремия Позье еще юношей сделался лично известен Анне Иоанновне.

Вскоре он открыл свою мастерскую и начал работать самостоятельно. Конечно, все заказы от пьяного хозяина перешли к нему, и с этой минуты, в продолжение почти тридцати лет, Позье следовал повсюду за двором, работая и на придворных, и на все высшее общество.

Вместе с этим благодаря уму, крайней добросовестности и доброму, веселому нраву Позье был приятелем очень многих иностранцев, игравших в России более важную роль. Покуда Позье делал браслеты и брошки, они делали правительственные перевороты.

Вся история России, с Петра II до Петра III, прошла на глазах у Позье. И вся эта комедия, со всеми действующими лицами, со всеми переменами декораций, совершилась не только на его глазах, но на подачу руки. Он видел и знал всю закулисную интимную сторону этой комедии. Так однажды, за полчаса до того мгновения, когда приятель его, Лесток, двинулся с цесаревной Елизаветой арестовать и свергнуть с престола Брауншвейгскую фамилию, Позье ужинал у этого приятеля.

В царствование Елизаветы положение Позье еще более переменилось к лучшему. Он не только работал постоянно для государыни, не только был всегда ласково и любезно ею принят, но получил право являться без доклада, даже присутствовать при ее утреннем туалете, чтобы самому надевать на нее свои изящные произведения.

Когда, за последние годы царствования, императрица бывала часто не в духе, гневалась на окружающих беспричинно, то никто не смел и подступиться к ней с каким бы то ни было делом. Позье мог явиться всегда. Принеся с собой какую-нибудь прелестную безделушку, он мог легко рассеять дурное расположение духа государыни. Вследствие этого как-то незаметно придворная роль Позье вдруг сделалась исключительною и крайне важною. Иностранные резиденты, даже императорский австрийский посол, а иногда и русские министры, даже канцлер российский, обращались с просьбой к женецу-бриллиантщику переговорить с императрицей полушутя о каком-нибудь деле, что-нибудь выпытать у нее в беседе, что-нибудь намеками довести до ее сведения, что-нибудь выпросить, иногда только получасовую аудиенцию, в которой она отказала. И тонкий, но добрый и симпатичный Позье всегда с успехом исполнял подобного рода поручения.

Теперь он уже был женат и нажил за тридцать лет капитал, хотя небольшой. К несчастью, русская знать любила драгоценные украшения, делала массу заказов, но часто не платила вовсе. Отказываться женецу, по разным соображениям, было невозможно, и он кое-как исполнял все требования, надеясь когда-нибудь выручить хоть половину денег.

Со вступлением на престол Петра Федоровича положение Позье, давно, с детства лично известного государю, сразу еще более улучшилось. Государь, конечно, меньше заказывал разных вещей, и часто бывать во дворце уже не приходилось. Но зато он удивил и обидел многих своей милостью к Позье, дав ему вдруг чин бригадира армии.

Но честный женец, видевший так близко столько царствований, столько возвышений, столько падений и столько переворотов, начинал все чаще подумывать о том, как, собрав хоть часть денег с вельможных должников, присоединить их к маленькому капиталу, уже переведенному за границу, и уехать из России.

Вот именно невдалеке от подъезда этого иноземца, ювелира-дипломата, однажды в полдень остановилась карета, и красивая, веселая, щегольски одетая дама пешком дошла до маленького домика.

Это была, конечно, графиня Скабронская, явившаяся сама к Позье с тайным заказом, вместо того чтобы вызвать его к себе.

Так как за последнее время нестарый годами, но уже уставший и нажившийся Иеремия Позье редко разъезжал по городу, а посылал своих учеников, то он не мог знать в лицо недавно поселившуюся в Петербурге графиню Скабронскую.

Маргарита передала ювелиру рисунок, прося сделать бриллиантовый букет как можно скорее. Деньги, очень крупную сумму, то есть пять тысяч червонцев, Маргарита обещала Позье привезти через несколько дней.

– Вы получите эти деньги, – сказала Маргарита, – от меня лично или от нарочного. Все это я убедительно прошу вас сохранить в тайне. Вы, конечно, если пожелаете, то узнаете со временем, кто носит этот букет, но кто поручил мне его заказать, вы знать не будете. Я даже попрошу вас никому не говорить, что он был заказан секретно.

За свою жизнь Позье случалось сотни раз получать такие заказы, и условие Маргариты не только не удивило его, но даже не показалось ему любопытным. Единственно, что удивило женева, это получение денег прежде, чем работа будет окончена. К подобному роду заказов не приучила его петербургская знать.

Бриллиантик обещал, что букет будет готов очень быстро, так как он вместе с учениками займется им исключительно. Что касается до тайны, то и говорить нечего! Что за тайна для него бриллиантовый букет, когда женева, когда-то ужиная с приятелем, знал, что через час не будет царствовать император Иоанн Антонович, а на престоле будет императрица Елизавета Петровна!

Маргарита уже собиралась уезжать, когда женева спросил у нее, сама ли она приедет за букетом. Маргарита не знала, что отвечать: про это Гольц ничего не сказал ей.

– Может быть, я сама приеду, а может быть, и пришлю кого-нибудь, – сказала она.

– В таком случае позвольте узнать ваше имя.

Маргарита уже хотела выговорить его, но вдруг запнулась. Ей показалось, что ее собственное имя будет для Позье ключом для раскрытия тайны.

Тонкий женева заметил нерешительность красивой незнакомки и прибавил, улыбаясь:

– Впрочем, и это не нужно. Уговоримтесь заранее, что вы пришлете за вещью человека, который передаст мне в доказательство что-нибудь условленное теперь. Сто раз бывало со мной подобное.

– Да, пожалуй. Но как же?

– Очень просто. Пришлите за вещью кого вам угодно и дайте ему что-нибудь, ну платок носовой с каким-нибудь мне знакомым вензелем. А то еще лучше...

Позье увидел на столе несколько игральных карт, на которых ученики его рисовали для заказчиков модели вещей. На разбросанных картах были нарисованы и букеты, и ривьеры, и браслеты, и кольца. Позье, быстро перешарив карты, нашел одну, изображавшую букет, и, прибавив к нему быстро искусной рукой два цветка, подобные тем, из которых состоял заказываемый букет, он передал карту графине.

– Скажите мне, – вымолвила Маргарита, – можете ли вы переделать очень старую монтировку бриллиантов по новым моделям? Работы на месяц, но если я заплачу двойную цену за работу, сделаете ли вы мне в две недели?

– Это надо видеть... – улыбнулся Позье на женский вопрос. – Сколько вещей и какая будет монтировка?

– Хорошо. Так я сама привезу и деньги за букет, и мои бриллианты.

Особенно учтиво и почтительно проводив до крыльца красавицу, Позье, веселый и улыбающийся, вернулся домой. Такого крупного заказа не было у него уже давно. Добросовестный женева мог нажать теперь барыша тысячу червонцев. Это могло поправить его обстоятельства и вознаградить за все потери на своих должниках. Мысленно Позье обещал себе прекратить немедленно торговлю и уехать на родину.

Садясь в карету, графиня собралась было ехать к Иоанну Иоанновичу, чтобы поблагодарить его за подарок, но затем она передумала и велела ехать почти на другой край города. Карета ее двинулась в тот самый Чухонский Ям, где когда-то она спасла юношу, о котором теперь стала все чаще задумываться. Графиня уже не в первый раз отправлялась в Чухонский Ям, но не по делу и не в гости ездила она туда.

Там, на полдороге между городом и домом, где жили Тюфякины, стоял в стороне домик еще меньше дома Позье. Там жила старуха неизвестной национальности, по ремеслу гадалка.

Старуха эта, полугречанка, полуармянка, была знакома всей столице, пожалуй, не менее Позье; да и роль ее за двадцать лет в Петербурге была также не последняя. Она гадала, как говорили, замечательно. Конечно, болтая ежедневно всякий вздор, ей случилось предсказать раз десять правду, и правду очень важную. Случалось, что старуху возили и во дворец к покой-

ной императрице. Домик ее был ветхий, почти избушка, но денег у нее было не меньше, чем у Позье. Маргарита, по характеру несуетливая, все-таки любила гадать; она не верила искусству старухи, но ей просто, как всякой праздной женщине, было приятно иногда послушать болтовню, да еще вдобавок о себе самой, о том, что будто бы будет с ней завтра, о том, что ей неизвестно. Однажды старуха предсказала ей, что она одновременно овдовеет и получит большое наследство от старого вельможи. Муж в то время был еще совершенно здоров, а дед прекратил тогда всякие сношения. Теперь предсказание старухи как будто сбывалось. И совпадение этих двух вещей напоминало ей о старухе гадалке.

Когда Маргарита подъехала к маленькому домику, то у подъезда оказался щегольской экипаж. Кто-нибудь опередил графиню за тем же делом, но это не смутило ее: бывать у гадалки не считалось срамом. И Маргарита вошла, оставив людей при карете.

Пройдя двор, она была принята старой и безобразной служанкой, как важная знакомая и как щедрая барыня.

Хоть и мал был этот домик, но пять комнат были так распределены, что всякий посетитель мог ожидать в отдельной горнице. Служанка ввела графиню в комнату, которая была почище других, и стала извиняться, что ей придется подождать довольно долго.

– Барыня одна сейчас только приехала, а гадать будет непременно много и долго.

И безобразная, но умная женщина шепнула Маргарите:

– Знаете кто? Графиня Елизавета Романовна!

– Воронцова! – ахнула Маргарита.

– Она самая. Уж второй раз на этой неделе.

Маргарита невольно ахнула. Имя это за последние дни звучало исключительно громко и имело особенное значение для слуха всякого.

Маргарита подвинула кресло и, усевшись близ маленького окошечка, стала глядеть на пустой двор, где только расхаживали куры и несколько ворон дрались из-за кости. Но Маргарита ничего не сознавала, она думала о том, что заронило в ее душу услышанное сейчас имя. Ее великая мечта, великая тайна предстала перед ней, и она глубоко задумалась. Затем постепенно мысли ее перешли на последнюю встречу с дедом... До сих пор, против воли, чувствовала она на коленях своих его горячее лицо и до сих пор чувство отвращения сказывалось на сердце. Чувство отвращения к старику и чувство озлобления на обстоятельства, заставлявшие ее действовать наперекор влечению сердца, жаждущего совершенно иного...

И вдруг вместо деда воображению ее предстал другой образ, девственно красивый, полный огня, горящего в унылом взоре синих глаз...

«Да... если б он?!» – говорило ей сердце.

XXIII

А между тем он был близко... за два шага!..

Обезумев почти от любви, Шепелев за последнее время не знал ни сна, ни пищи и, наконец, решился действовать... Будь что будет!..

Прежде всего он купил себе лошадь на полученные от матери деньги, затем нанял маленькую комнатку, чуть не на чердаке в доме, который помещался наискось от дома графини Скабронской.

Лошадь его по целым дням бывала привязана на дворе, а он сидел перед крошечным окошком и глядел, не спуская глаз, на дом своей возлюбленной. Квасов за это время особенно беспокоился, не понимая, где пропадает с утра до вечера названный племянник.

«Ведь он скачет по городу целый день, – думал Аким Акимович, – а лошадь сухая и даже не заморенная, будто в стойле простояла».

Зато теперь Шепелев из своего окошка узнал, насколько мог, образ жизни в доме красавицы; узнал, кто бывает у нее, кто бывает чаще других, узнал, когда она выезжает и куда ездит. В продолжение нескольких дней, едва только графиня отъезжала от подъезда, Шепелев летел вниз, садился верхом, скакал за ней, но, конечно, на таком далеком расстоянии, чтобы не быть замеченным лакеями, стоявшими на запятках. Шепелев узнал скоро, у кого чаще всего бывает графиня, но, к несчастью, он не мог еще найти никого, чтобы быть представленным в эти дома.

Однажды, по обыкновению, также с утра сидел юноша как бы на часах. На этот раз он был беспокоен, взволнован и смущен. Он имел повод ревновать ее, и хотя ему самому казалась бессмысленна и даже жалка эта ревность, тем не менее он мучился.

Поводом к этому послужило то, что вчера днем, хотя и не в первый раз, явилась у подъезда дома графини Скабронской великолепная берлинка с блестящими в галунах форейторами и лакеями. Это был прусский посланник Гольц, самое важное лицо во всей столице.

Это бы еще ничего. Но это был замечательный, как говорили, красавец, искусный волокита, пользовавшийся большим успехом среди столичных красавиц, – вот что ударом отозвалось в сердце Шепелева.

Посланник на этот раз просидел у графини страшно долго. Целым веком показалось это время юноше, и теперь, вспоминая вчерашний визит, он все еще был взволнован.

После Гольца явился какой-то старик в старомодной карете и пробыл тоже довольно долго. Но к нему не ревновал юноша!.. Он не обладал даром провиденья!! В этот день экипаж графини подали, но опять отложили, она не поехала... На другой день, когда графине подали карету, Шепелев, по обыкновению, тотчас сбежал вниз по лестнице, как стрела; и точно так же, пропустив карету, двинулся за ней верхом. Обождая за углом, как делал он всегда, пока графиня была у Позье, он снова поскакал за ней.

К его удивлению, она ехала на ту дорогу, где когда-то он в первый раз встретил ее в офицерском мундире. Да, она ехала прямо к Чухонскому Яму, и сердце юноши почему-то радостно забилося, как будто предчувствуя что-то особенное...

Карета остановилась на дороге у домика. Он знал, кто тут живет, потому что гадалку знала и любила вызывать к себе, иногда и навещать Пелагею Михайловна.

Шепелев невольно ахнул и встрепенулся. Он сообразил сразу, что в этот дом всякий, а поэтому и он, может войти беспрепятственно.

Отдав лошадь подержать какому-то мужику, Шепелев смело вступил в дом. Та же старая служанка отворила ему дверь. Солдатская форма немножко смутила ее, но лицо, руки и речь юноши рядового говорили сами за себя.

– Тоже погадать желаете? – спросила она на всякий случай.

– Да. Я от Пелагеи Михайловны Гариной и княжон Тюфякиных, – вдруг нашелся юноша.

– Ах, милости просим! Как их здоровье? – заболтала горничная и уже любезно ввела Шепелева в маленькую комнату. – Вы туда не входите, – прибавила она, показывая на дверь. – Там одна графиня...

Оставшись один, Шепелев почувствовал вдруг, что вся смелость его сразу исчезла.

«Она здесь!.. Рядом! Вот только отворить эту дверь!..»

И молодой человек, чувствуя, что он не устоит на ногах, опустился на минуту на первый попавшийся стул.

Долго ли он просидел – он не знал...

Но вдруг раздался какой-то шорох в доме, и он вскочил. Он испугался мысли, что этот давно желанный, давно искомый случай ускользнет у него из рук и он прозевает его. Юноша провел рукой по пылавшему лицу, по глазам, перед которыми носился какой-то туман, и разогнал, насколько хватило у него силы воли, то опьянение, в котором он себя чувствовал. Смело подошел он к двери, слегка притворенной, потянул ее на себя, переступил порог и, оглянувшись в комнату, замер всем телом.

В углу, у окошка, сидела она, глубоко задумавшись и устремив глаза на дворик.

Он хотел заговорить, но силы не хватило. Он сделал несколько шагов к ней, не зная, что будет, что случится, что скажет он, что получит в ответ. Он чувствовал только, что горит весь как в огне, что взор его туманится все более и более, что сознание и разум положительно покидают его, что с ним делается или дурнота, или сумасшествие! Только одно крепко залегло у него на сердце и будто стучит в голову – решимость: будь что будет!..

И в этом полусознательном состоянии юноша тихо двигался все ближе и ближе к задумавшейся Маргарите. Когда, как – он сам не знал... но очутился вдруг на коленях у ее ног и целовал край ее обшитого кружевами платья. Сказал ли он что или нет? Сказала ли она что-нибудь? Он не слышал и не знал! Он смутно слышал, что кто-то тихо вскрикнул.

Но, видно, счастливая звезда юноши вела его и действовала за него. Не надо было ничего говорить! Все было бы глупо, все было бы странно! Звезда его, очевидно, знала лучше, в какое мгновение она приводила его к ногам этой гордой красавицы и какие прихоти владеют сердцем женщины... Она, видно, понимала, что этой женщине надо было скорее уничтожить, будто смыть с себя следы позорных и отвратительных старческих поцелуев, тяготевших на сердце...

Задумавшаяся глубоко Маргарита не заметила его появления в горнице, и вдруг, будто чудом, будто по мановению жезла волшебника, около нее упал кто-то на колени. И это именно он! Бог весть, что бы сделала и сказала графиня Скабронская в другое мгновение, при другом настроении, при другой обстановке... И прежде поцелуев деда!.. Но теперь все произошло так особенно, так странно и быстро, какой-то сказкой!..

И красавица, светская львица, расчетливая кокетка, вместо того чтобы громко вскрикнуть, подняться, отскочить от безумца, убежать, только тихо ахнула. И это был даже не испуг! Еще одно мгновение – и ее дрогнувшие руки упали на его плечи, обвивая наклоненную к ней голову. Пальцы ее скользнули и запутались в его густых кудрях, и мягким движением они поднимали и отклоняли назад его голову... Глаза встретились, и красавица, нагнувшись, страстно и жадно прильнула губами к его губам.

Маргарита порывом отдалась первому движению сердца, но, конечно, не потеряла сознания окружающего. И она могла видеть, как в то же мгновение помутились красивые синие глаза его, как в них выступили две крупные слезы, как смертельно вдруг побледнел он... потом слабо рванулся от нее, простонав, как от боли, и тихо повалился на пол около ее ног. Маргарита, не понимая, не веря, бросилась к нему и, став на колени, нагнулась над его лицом. Юноша был без чувств!

Маргарита хотела было бежать за хозяйкой дома, но вспомнила о Воронцовой, сообразила, что если этот случай будет ей известен, то будет известен тотчас же и государю. При этой

мысли Маргарита в ужасе отскочила от двери, которую хотела уже отворить, и бросилась в прихожую. Крикнув два слова старухе служанке, она почти выбежала к своей карете.

«В горнице что-то случилось», – поняла старуха и тотчас кинулась туда.

Через несколько минут, с помощью воды, а в особенности толчков, старуха привела юношу в чувство.

Он оглянулся кругом безумными глазами и поднялся на ноги. Старуха что-то такое болтала, что-то советовала и толкала его к дверям. Шепелев вспоминал!.. Наконец он вспомнил все, вскрикнул и, не имея сил для вторичной встречи, бросился как сумасшедший вон из дома, воображая, что она еще у гадалки.

– Слава тебе, господи, – сказала вслед за ним старуха. – Авось Лизавета Романовна ничего и никого не приметил. Ишь, ишь погнал! Господи Иисусе! – воскликнула она через минуту, увидя, как Шепелев, вскочив на лошадь, мчится вихрем по дороге.

XXIV

Аким Акимыч Квасов на Святой неделе вынюхивал чуть не по полфунта табаку в день. То и дело насыпал он вновь полную тавлинку. Нос его, несмотря на привычку, все-таки видимо вспух и покраснел. Это сильное постоянное нюханье означало в лейб-кампанце душевную сумятицу, и действительно Квасову было не по себе. Он получил два чувствительных удара в самое сердце.

Во-первых, он с утра до вечера беспокоился и волновался из-за своего названного племянника. Шепелев ходил как тень; очевидно, у него была какая-нибудь мудреная, быть может, даже заморская хворость, а ложиться юноша не хотел. Квасов уже побывал однажды у самого знаменитого знахаря Ерофеича, спрашивал у него: есть ли такие хворости, какие у Шепелева? Но Ерофеич отвечал, что эта хворость – баловство. Коли ходит, ест и пьет, стало быть, здоров, а только блажь в голове. А на это целебных трав нету, а есть целебные прутья, именуемые «березовой кашей». Итак, Квасов беспокоился и недоумевал, но догадаться, в чем дело, конечно, не мог. Он и сам когда-то раз был влюблен, но за то время чувствовал себя еще бодрее и веселее.

«А чтобы от любви чахли да худели, – думал он, – это уж совсем по-аглицки или по-гишпански, а не по-русски!»

Отношения между дядей и племянником стали хуже с тех пор, что юноша не слушался дяди, пропадал со двора по целым дням, болтался неизвестно где и не говорил, где был.

С другой стороны, Квасов был несказанно озлоблен и оскорблен происшествием в кирасирском манеже. Он до сих пор ясно, отчетливо ощущал на себе удары Котцау. Хотя он дал сдачи бранденбуржцу, дал по-русски, крепко и здорово, – тоже помнить будет! – но все-таки Акиму Акимычу стыдно было вспомнить, что его при всей гвардии отшлепал немец так же, как парнишку какого отшлепает иная баба, поймавшая на огороде за кражей гороха. Вернувшись из манежа, Квасов решил тотчас же учиться этой поганой экзерции так, чтобы в другой раз ни Котцау, ни иной какой не могли бы уже его побить. «Неужто русскому нельзя и в этом немца за пояс заткнуть?»

– Оплевал, просто оплевал! – повторял Аким Акимыч по сто раз на день, ходя из угла в угол своей комнаты и пожирая носом щепоть за щепотью.

Собравшись усиленно приняться за уроки фехтования, Квасов стал предлагать своему племяннику тоже учиться. Если кто увидит, соображал Квасов, что к ним таскается помощник Котцау, Шмит, который мастер сам, то пускай подумают, что Шепелев учится, а не он.

Юноша, всегда грустный, наотрез отказался учиться: не до того ему было.

Но вдруг произошла резкая перемена, словно чудо какое. Шепелев выздоровел. В сумерки прискакал он на Преображенский двор на своей сильно взмыленной лошади, бросил ее конюху и вихрем влетел к дяде в квартиру. Когда их кухарка отворила ему дверь, юноша постарался сделаться как можно грустней и мрачней, но, разумеется, не сумел: слишком сияло лицо его, слишком блестели, искрились красивые синие глаза. Шепелев, входя, думал, что соорудил свое лицо мрачнее ночи, а Квасов, взглянув на племянника, чуть не выронил тавлинку из рук.

– Что такое? Что случилось? – вымолвил он.

– Ничего, дядюшка! – даже удивился Шепелев.

– Чему радуешься?

– Ничему, дядюшка...

Как Квасов ни просил, племянник, однако, ничего не сказал ему.

– Ну, не говори, – слегка обиделся Аким Акимыч, – бог с тобой. Рад, что хоть рыло-то у тебя повеселело. А что рыло твоё в пуху и не хочешь ты мне сказать, что это за пух и кого ты скушал, это твоё дело! Если это от бабы какой, – теперь только будто догадался Квасов, –

то пушай. Только одно скажу: не след было так нудиться из-за пустяковины, а теперь не след тоже и беситься.

– Ах, дядюшка, я готов бы на луну прыгнуть! – воскликнул Шепелев.

– Это пустое дело, можно, в твои годы даже очень легко, – сострил Квасов. – А вот назад-то попасть, на землю, бывает очень мудрено... всегда расшибешься до полусмерти.

– Да я, может, там уж и останусь.

– Давай бог! – рассмеялся Аким Акимыч.

Юноша расцеловал Квасова в обе щеки, весело попросил прощения, обещая со временем все рассказать, и затем выскочил и побежал к Державину.

Квасов, хотя и бранился и дурно отзывался о Державине, однако все-таки устроил так, что молодого рядового уже не гнали на работы, но зато ставили на часы и на вести.

Шепелев откровенно рассказал другу все с ним случившееся. Державин выслушал его, покачал головой и выговорил:

– Что кому. У всякого своя забота!

– Ну а твои дела! – весело выговорил Шепелев.

– Что мои дела! Был у Фленсбурга, дал он мне несколько немецких бумаг перевести на русский язык и обещал заплатить щедро. Да что мне деньги, не то мне нужно.

– Ну а пастор?

– Был и у Гельтергофа. Дело, кажется, ладится. Обещал мне, что как государь переедет в Ораниенбаум, то захочет увеличить голштинское войско и будет принимать всех желающих, кто только знает по-немецки. Но когда еще это будет... Через месяц или два.

Шепелев, прежде не особенно лениво учившийся по-немецки у своего приятеля, за последнее время стал учиться гораздо прилежнее и сделал огромные успехи. Разумеется, это случилось потому, что «она» говорила преимущественно на этом языке, это был почти ее родной язык и сделался теперь милым языком Шепелева. Теперь он уже объяснялся свободно и сам пришел бы в неподдельный ужас, если бы кто-нибудь на этом дивном и милом языке сказал «нихт-михт».

И когда теперь Державин предложил приятелю заняться уроком, то юноша согласился и с восторгом принялся за немецкую книгу. Его душевное настроение, ликующее, восторженное, сообщилось понемногу и приятелю. И на этот раз до поздней ночи раздавался в каморке рядового преображенца гул двух голосов, бормотававших на ненавистном всем языке. Даже сосед Державина, солдат Волков, пришел, хотел было прилечь на кровати, но не выдержал. Этот проклятый хриплун так гудел у него в ушах, что Волков злобно плюнул, слез со своей кровати и ушел спать вниз.

– Черти! – бормотал он, укладываясь вниз. – Понравился теперь! Все учатся. А вот погоди, может, вас, охотников до неметчины, скоро всех передавят. Алексей Григорьевич вчера еще сказывал примечать, кто из офицеров – немцев угодник, и запомнить, чтобы из рук не ушел, когда время приспее.

На другое утро урок снова был возобновлен. Шепелев уже учился с остервенением, ожидая теперь всякий день возможности говорить с «ней» на ее языке.

В это утро случилось нечто особенное. В отсутствие Шепелева к Квасову явился неожиданный гость. Если бы знал Аким Акимыч, что племянник у Державина, то, конечно, тотчас же послал бы за ним. В квартиру лейб-кампанца явился офицер и поразил его как своим прибытием, так и своим ненавистным мундиром. Явился князь Тюфякин в своем голштинском мундире. Сначала Аким Акимыч даже смутился от неожиданности визита.

Князь Глеб приехал познакомиться с господином Квасовым и спросить его от имени Пелагеи Михайловны Гариной о здоровье Шепелева и о причине его долгого отсутствия. Квасов объяснил все хворостью племянника, который, однако, теперь поправился и, вероятно, на днях будет у Тюфякиных.

Беседа Глеба с Квасовым не клеилась, а между тем князь не уезжал, все переминался на месте; наконец, будто решившись, он заявил Квасову, что у него есть до него дело очень важное.

– Что прикажете? Готов служить.

Князь сразу заговорил о предполагавшейся свадьбе давно нареченных, юноши Шепелева и княжны Настасьи Тюфякиной. Спросив мнение Квасова на этот счет, он узнал, что лейб-кампанец именно теперь очень рад бы был поскорее женить племянника, чтобы он не запропал среди гвардейских кутил и буянов.

Слово за слово, и ловкий Тюфякин добился того, что через полчаса они беседовали откровенно, непринужденно и как старые приятели. Тюфякин предложил Квасову действовать вместе, чтобы как можно скорее женить юношу на княжне. Он заявил, что этого все желают, в особенности тетка-опекунша и сама невеста.

– Прежде всего, – сказал князь, – вам следует познакомиться с вашей будущей родней. Давно бы следовало-то.

Эти слова несколько польстили лейб-кампанцу, который знал, что он дядя Шепелеву только наполовину. Однако Аким Акимыч, нигде не бывавший, пришел в ужас от предложения князя, но Тюфякин сумел быстро убедить лейб-кампанца, что тетушка-опекунша и княжны самые добрые и простые женщины, какие только есть на свете.

Решено было, что Квасов на другой же день явится в дом княжон.

– Только я ведь людскости никакой не имею, – объяснил Квасов.

– Полно, пожалуй... Все это пустое!.. Разум да сердце – вот что в человеке дорого! – говорил Тюфякин уходя и прибавил: – Дмитрию Дмитричу вы ничего не сказывайте. Пускай он лучше не знает, он ведь у вас чудной такой.

– Уж именно чудной! – воскликнул Квасов. – Хворал сколько времени, я уж думал, чахотка или чума какая, – вот как бывает у щенят, что чумеют. А тут вдруг в одно утро сразу запрыгал козлом... Я даже опасаюсь, не баба ли это какая прелестница! Тогда ведь беда будет насчет нашего-то желания...

– Да, это избави бог. Авось... – как-то рассеянно сказал Тюфякин. – Так вы ему ничего не говорите да завтра и приезжайте к нам. Я живу-то не у них, да все-таки говорю: к нам, все-таки они мне сестры.

На другой день Аким Акимыч надел свой новый мундир, всячески прихорашивался целые полчаса у маленького зеркальца, или, лучше сказать, перед черепком от зеркала, и, ни слова не сказав племяннику, отправился пешком к Тюфякиным. Тавлинку он не взял ради приличия, решившись потерпеть час без табака.

Квасов смущался и робел, как юноша, отправляющийся на первый бал. Да это и был для него первый визит в жизни.

«И зачем я иду? Познакомились бы после, когда она стала бы женой его, уж родней. Осмеют только мужика!»

Проходя по мосту через овраг, где уже значительно стоял снег и кое-где видна была земля, Квасов невольно вспомнил о случае с племянником.

«Должно быть, это здесь грабители-то его наградили, шубенку-то сняли. Здесь самое прекрасное место для этого: и убить можно да под мост до весны спрятать».

Когда Аким Акимыч поднимался по лестнице дома Тюфякиных, то дрожь пробирала его по всему телу.

Пелагея Михайловна особенно любезно встретила гостя, усадила, предложила чаю. Затем явился князь Глеб, ведя за руку Настю.

– Вот вам и невеста, – сказал он.

Настя старалась улыбнуться, но лицо ее было сумрачно. Князь Глеб старался быть весел и добродушен, но это как-то не шло к нему.

Пелагея Михайловна тоже старалась побольше занимать гостя разговором, но видно было, что и с ней что-то творится.

Наконец после всех появилась в комнате Василек. Тихо отворила она дверь, тихо подошла к столу, где обыкновенно она всегда разливала чай, и села, пытливо, зорко глядя в лицо Квасова.

– Это моя старшая племянница, Василиса, – сказала Гарина.

Квасов поклонился и внимательно стал глядеть на девушку.

«Чудное лицо! – думал он. – И что-то такое в этом лице удивительное есть!»

Квасов думал то же, что всякий при первой встрече с Васильком. Его, как и других, поразило это испещренное бороздками лицо, освещенное чудным душевным светом великолепных глаз.

Беседа смолкла на минуту. Квасов все глядел на Василька и вдруг выговорил несколько слов, которыми сразу обворожил княжну. Этими несколькими словами Квасов сразу записал себя в число друзей Василька.

– Как вам болезнь личико испортила! – выговорил Квасов. – А ведь видать и теперь, что вы писаная красавица были?

Василек слегка зарумянилась, и сладкое чувство сказалось у ней на душе. Эти слова так подействовали на нее, что она пересела тотчас поближе к лейб-кампанцу, к дяде этого юноши, которого она так давно не видала и о котором все-таки постоянно думала.

Аким Акимыч стал простодушно и подробно расспрашивать Василька, на каком году она заболела, как ее от оспы лечили. Василек охотно отвечала.

– Ну что ж, верно я сказываю, – спросил Квасов, – что вы были до болезни писаной красавицей?

Василек рассмеялась, а Пелагея Михайловна согласилась, что действительно так.

– Василек мой была такая красавица, каких мало у нас в столице. Но и теперь она для меня красавица душой своей. Что за польза, когда лицо бело, да душа черна! – выговорила Пелагея Михайловна и как-то странно косо взглянула на Настю и перевела свой быстрый взгляд на Тюфякина. Что-то злобное сказалось на лице ее на мгновение, и она еще быстрее отвернулась от князя.

Посещение Квасова окончилось совершенно для него неожиданно. Он пришел рано, а собрался домой уже ввечеру, и так как все опасались, чтобы его на мосту, как и племянника, не ограбили, то Пелагея Михайловна предложила ему доехать до города на их лошадях.

И поздно вечером Аким Акимыч выехал из дома новых друзей. Лейб-кампанец так не привык к колымагам и не привык качаться в них по рытвинам, что едва только экипаж въехал в улицы, Аким Акимыч остановил кучера:

– Стой, голубчик, совсем умаяло, как на качелях! Вот-вот стошнит и карету испачкаю! Выпусти на свет божий.

Квасов, отправив карету обратно, приказал благодарить барыню, а сам пошел пешком, думая о семействе Тюфякиных, которое произвело на него самое странное впечатление. Он разобрал всех по ниточке.

«Тетушка-опекунша – так себе, ничего, барынька из дуба дерева, у нее свой нрав, и она себя в обиду не даст. Князь – бес, что монахом прикинулся. Тетушка его, должно быть, не очень долюбливает, да, впрочем, ему она и не тетка, а чужая. Невеста либо хворает, либо какая забота у нее была в этот день. А может, он, мужик, ей не понравился, она на него и насупилась».

– А все-таки, – вымолвил Квасов вслух, – не по сердцу она мне, эта Настасья Андреевна. Она, что называется, в замужестве мужа справлять будет, а мой-то Митя уж будет жену изображать. Да, барышня с кулачком! А эта! Вот другая-то, Василиса-то Андреевна!!

И Квасов на ходу сразу остановился и от прилива чувства к сердцу полез в карман за тавлинкой и ахнул. Он забыл совсем, что, собравшись в гости, оставил тавлинку дома.

– Да, она – другое дело! – развел Квасов руками, бормоча себе под нос. – Красавица писаная! Не лицом, а очами красавица! Душой красавица! Душа ее вот вся на ладони. Нет, Василиса – не Настасья. Вот кабы на этой поросе женить бы, то-то мы бы зажили! Но как теперь к нему подступиться? Коли есть прелестница, его под венец хоть на цепи веди.

И Квасов медленными шагами направился домой, продолжая восхищаться мысленно Васильком. Он был так глубоко занят понравившейся ему княжной, что в рассеянности дорогой еще раза три слазил за тавлинкой в пустой карман и каждый раз нетерпеливо плевался.

– Тьфу! Опять забыл.

И он прибавил шаг, чтобы скорее добраться до своей тавлинки и отнюхаться за весь день на славу.

XXV

Апрель месяц уже проходил, наступили уже двадцатые числа. Нева вскрылась, лед прошел, река очистилась, и невские воды, холодные, серые, незаметно для глаз уносились теперь в море.

Стоя на берегу реки, где уже показалась зеленая трава, преображенный сержант в новеньком мундире с иголки глядел на ровное и гладкое лоно вод и думал: «Да, много воды утекло с тех пор».

Действительно, со Святой недели за этот апрель месяц много воды утекло для всего города и много событий и перемен совершилось в судьбе многих лиц, а более всех в судьбе этого сержанта, который был не кто иной, как юноша Шепелев, получивший сразу, вдруг, бог весть как, полуофицерское звание, перескочив через два чина.

Помимо перемены одежды простой на более блестящую, которая удивительно шла к его бледному и женственному лицу, в нем самом совершилась тоже перемена нравственная. Он был теперь менее наивен, менее ребенок. Три случая повлияли на него и заставили его будто вырасти душой.

Во-первых, навеки неизгладимая из сердца минута встречи с «ней» у гадалки и ее поцелуй, молчаливый, но красноречивый и сказавший ему все. До сих пор поцелуй этот будто дрожал и горел на его губах. Затем, вскоре после этой встречи, незнакомая рука, будто рука фортуны, высыпала на него свой рог изобилия. Он получил прежде всего крупную сумму денег, оставленную на его имя в пакете, покуда он был по наряду на часах. В пакете была записка от неизвестного покровителя, который, даря ему эти деньги, требовал, чтобы Шепелев немедленно съехал с квартиры дяди и завел свою собственную.

Вследствие этого сержант имел бурное и резкое объяснение с названным дядей. Их горячий спор кончился полной ссорой. Юноша, отвоюывая свою независимость ради необходимости жить отдельно, неосторожно напомнил Квасову об его происхождении и о том, что, в сущности, Аким Акимыч ему не настоящий дядя. Как это сорвалось у него с языка, он и сам не понимал. Помнится, что Квасов сказал ему, что он влюблен, верно, в какую-нибудь приезжую «иноземку каналью» и съезжает, чтобы пьянствовать с ней на свободе, покуда она его не обворует. Теперь совесть его мучила, и он надеялся когда-нибудь, даже скоро, примириться с Акимом Акимычем, которого, в сущности, очень любил. Но эта ссора будто воспитала юношу, укрепила волю.

После этой ссоры Шепелев немедленно нашел себе небольшую, но очень красивую и веселенькую квартиру на Невском и зажил в ней своим собственным хозяйством. Не прошло и двух дней, как та же неизвестная рука прислала ему в квартиру всевозможные вещи, начиная от мебели и кончая бельем и платьем.

Разумеется, часто приходило на ум юноше, что все это идет от «нее». Так как подобного рода вещи случались в гвардии ежедневно, стали обычаем в среде офицеров, то, конечно, и Шепелев не считал предосудительным получать все эти подарки. Иногда, впрочем, он в ужасе думал и даже говорил вслух:

— А что, если это не она? Если это какая-нибудь старая дурнорожая баба? И такие случаи бывают часто. И вдруг явится она предъявлять свои права! И придется все бросить, бежать и снова переехать к дяде.

Наконец однажды, во время очистки казармы и перемены порядков на новый лад, то есть изгнания баб, жен и постояльцев, на ротном дворе оказалось открытое неповиновение и почти бунт. Среди общей сумятицы, смутившей даже офицеров, в казарме совсем неожиданно появился принц Жорж. Принц явился по приказанию государя отсрочить очистку казармы. Это была особая милость к преображенцам. Принц произвел смотр, сделал испытание к экзер-

пиции, и затем, хотя Шепелев вел себя не лучше других, его вызвали из рядов. Когда юноша подходил, то Жорж, глядя на него, в изумлении воскликнул, обращаясь к Фленсбургу:

– Aber es ist unser Herr Nicht-micht!¹

Шепелев заметил удивление принца, невольно заметил и сверкающий взор, который бросил на него адъютант Фленсбург. Ему показалось во взгляде шлезвигца плохо скрываемое презрение к нему.

Принц попросил адъютанта громко заявить всем предстоящим рядовым из дворян, что он желает доказать им свое довольство их успехами в экзерциции и на первый раз, как пример прочим, поздравляет рядового Шепелева прямо сержантом.

Шепелев едва устоял на ногах.

Принц уехал, но целый день не прекращались всякие толки на ротном дворе.

– Почему ж один Шепелев, почему ж, собственно, он, а не другие? – говорили все.

– Вестимо, его выбрали, а не другого! – говорил только Квасов.

Майор Текутьев, влиятельное лицо на ротном дворе, особенно горячился, говоря, что у Жоржа и милость – несправедливость.

– Вот у нас рядовой Державин тоже из дворян. Я его терпеть не могу, грешный человек, а все-таки скажу: он много искуснее в экзерциции, чем Шепелев. Почему ж не его?

Разумеется, Шепелев был в таком восторге, что первые дни, с минуты перемены формы, он ходил как в тумане счастья.

Таким образом, теперь в самое короткое время Шепелев очутился в своей собственной квартире, переполненной всяким добром, жил самостоятельной жизнью и был уже сержант гвардии, тогда как от рядового до сержанта приходилось часто служить от шести и до десяти лет.

Он тотчас же купил себе новую красивую лошадь и, счастливый, скакал по городу. По отношению к семье Тюфякиных Шепелев еще прежде ссоры с дядей переменялся совсем: он объявил тогда Квасову, что княжна ему просто противна и свадьбы этой никогда не будет. Квасов, выдавший уже несколько раз Настю, поневоле мысленно согласился с племянником. Когда же Квасов упомянул о Васильке как милой особе, пригодной в жены хоть бы иному царю, Шепелев раскатисто хохотал целый час и даже рассердил дядю. Затем лично князю Тюфякину, который вторично явился к нему, уже на его квартиру, Шепелев объявил, что и прежде не очень хотел соединиться браком со своей нареченной, а теперь положительно и наотрез отказывается. Юноша объявил это князю так спокойно, но твердо, и князь Глеб нашел такую перемену в молодом человеке, что даже удивился и не стал настаивать. Сержант Шепелев в своей красивой квартире совершенно не походил на того юношу рядового, который, по мнению князя, был и дурковат и медвежонок.

Между тем время шло, а главная загадка оставалась неразрешенною; Шепелева начинало тяготить и заставляло снова мучиться то, что со стороны Маргариты не было, так сказать, ни слуху ни духу.

Юноша нетерпеливо ожидал влюбленным сердцем, что она явится у него, пригласит к себе или, наконец, даст возможность встретиться где-нибудь. Но Маргарита как будто не существовала. Он предполагал, был даже уверен, что все явилось к нему от нее и через нее, что всё – деньги и подарки, даже чин – дело ее рук! Но на это не было никаких доказательств. И с ужасом иногда думал он, что вдруг явится действительный благодетель в образе какой-нибудь старухи или добросердого вельможи, а Маргарита, чуждая всему, останется в стороне.

Наконец он не выдержал и стал искать упорно случая встретиться где-либо со своей гордой красавицей и прямо объяснить с ней.

¹ А это наш господин Нихт-михт! (нем.)

– Этим поцелуем, – говорил он вне себя, – ты дала мне право требовать встречи и объяснения, дала даже право прямо явиться к себе...

Однажды утром он поднялся после бессонной ночи и даже более... ночи, проведенной в постыдных для сержанта, но искренних и горьких слезах.

– Поеду прямо к ней! – с отчаянием решил он. – Ведь я ее знакомый... Даже более. Разве простых знакомых целуют так?.. Ведь я не ребенок, не мальчик, которого всякая женщина может поцеловать.

А между тем именно это и смущало его теперь... Давно ли он был мальчуганом и его целовали так приятельницы матери, иногда и молодые, красивые?..

– Да... Но разве так целовали?! Разве так!! – восклицал он, с дрожью на сердце вспоминая ее огненный и жадный поцелуй.

Через час Шепелев был верхом у подъезда дома Ван Крукса и, отдав лошадь дворнику, вошел в дом и велел лакею доложить о себе:

– Сержант Шепелев.

Лакей пошел, а сержант стоял, озираясь в прихожей, и горел как на углях.

«Это дерзко, это глупо!.. Зачем я лезу, как нахал?!» – думал он, а сердце ныло в нем и будто оправдывало его поступок.

В прихожей, вслед за лакеем, появилась знакомая еще с ночи в овраге женская фигурка, и еще более знакомый голос сказал ему:

– Графиня приказала спросить: что вам угодно?

– Быть принятым графиней.

– Зачем?

И Лотхен, оглядывая сержанта, как всегда, дерзко ухмылялась.

– Я желаю видеть графиню!.. По делу!.. – сказал Шепелев по-немецки.

– Ах, вы теперь выучились! – заговорила Лотхен тоже по-немецки. – А по какому же это делу?

– Я только графине одной могу сообщить это.

– Я знаю... – рассмеялась Лотхен звонко и дерзко. – Графиня приказала вам сказать, что она нездорова и не может принять вас. Если же вы являетесь по делу о гадалке, то... вы должны меня понять!.. – прибавила Лотхен, косясь на понимавшего по-немецки лакея. – То, насчет гадалки... графиня просит вас оставить это дело... это все оставить без последствий... Понимаете?..

Шепелев стоял как истукан; сердце будто оторвалось и упало... Ничего не видя и не понимая, он двинулся из передней на подъезд, как оглушенный ударом. Юноша сел на лошадь и шагом двинулся по улицам... Когда, однако, после часу прогулки он вернулся домой, то на лице его была написана твердая решимость на что-то. Лицо его было угрюмо, но слегка и озлобленно...

– Сама пусть посмеет сказать это мне в лицо! – решил он. – Без последствий!.. Нет! Я шутить с собой не дам!

Но тут другая мысль испугала Шепелева. Мысль о деньгах, о квартире, подарках... Неужели это не от нее? Ну а чин! Ведь принц ахнул, что Шепелев – тот же его господин «Нихт-михт». Стало быть, он не заметил его в строю и не видал в лицо и поэтому не за экзерцицию награждал, а вызвал по заранее данному обещанию рядового, по имени Шепелев, поздравить сержантом! А кто же мог просить за него принца, если не она?.. А злое лицо Фленсбурга?..

– Боже мой! С ума можно сойти! – восклицал юноша. – Да и лучше бы!..

Шепелев решился опять взяться за старое... Верхом следовать за графиней всякий день и уже не скакать в отдалении и ждать за углом, а быть ею замеченным.

На другой же день с утра он был как на часах у дома Маргариты. В два часа ей подали карету. Она вышла и поехала на Большую Морскую. Шепелев двинулся за ней и, обогнав

карету, поклонился ей низко и холодно... Новая лошадь, как нарочно, шла великолепно, и он чувствовал сам, что ловко сидит в седле.

Графиня остановилась за углом среди улицы, вышла, снова пешком дошла одна до дома Позье и вошла. Шепелев, обождав минуту, решился. Он привязал лошадь к забору, а сам смело вошел в прихожую бриллианщика.

«Она нарочно людей бросила далеко... Она сама снова хочет видаться», – восторженно думал юноша.

Услыхав ее голос в соседней комнате, Шепелев отворил дверь и вошел. Графиня обернулась и видимо смутилась...

– Что прикажете? – спросил сержанта пожилой человек, очевидно хозяин дома.

– Я не к вам... Я увидел графиню и являюсь засвидетельствовать ей свое почтение! – любезно вымолвил Шепелев, кланяясь ей. Но в ту же минуту он оробел.

Графиня смотрела на него изумленным взором, как если бы он сделал что-нибудь невероятное.

– Вы ошибаетесь... – гордо, холодно, почти презрительно выговорила она, выпрямляясь. – Я не имею чести вас знать и даже не понимаю... Вы ошиблись... Я даже не графиня...

– Вы не... – пробормотал и запнулся юноша.

А хозяин дома лукаво усмехался.

– Я вас прошу оставить меня. Это, наконец, дерзко! – уже гневно выговорила графиня, меряя его с головы до пят таким ледяным взглядом, что у юноши вся кровь хлынула к сердцу...

– Однако... – вымолвил Шепелев, теряясь.

– Я не графиня и вас не знаю! Господин Позье, это ваше дело, иначе я сейчас уйду...

Это было сказано спокойно. Но какое презрение к нему звучало в каждом слове и будто светилось даже в чудных глазах ее.

Шепелев повернулся и, слегка шатаясь, вышел на улицу.

– Все кончено! – шептал он, садясь на лошадь.

XXVI

С самого приезда барона Гольца в Петербург, еще в феврале месяце, ходили слухи, что с Фридрихом будет заключен мирный договор, почти невероятный. Когда Гольц ловким маневром поставил всех резидентов иностранных, за исключением английского, в невозможность видаться с государем, то сам, по выражению шутников, ежедневно выкуривал целый пуд кнастера в его кабинете. И весь Петербург ожидал нетерпеливо, чем разрешатся ловкие происки фридриховского посланца.

Тайный секретарь государя, Волков, был осажаем со всех сторон вопросами, в каком виде находится мирный трактат. Волков уверял всех, что старается всячески избавить Российскую империю от угрожающего ей позора.

На Фоминой неделе прошел слух в Петербурге, что мирный договор уже готов, что есть два проекта: один – русский, Волкова, другой – прусский, Гольца.

Через неделю новый слух городской перепугал всех.

Глухо, тайно и боязливо все сановники передавали друг другу, что государь отверг проект Волкова и уже подписал проект Гольца. С ужасом рассказывалось, что в проекте этом, писанном будто бы самим Фридрихом, есть будто три секретных пункта, по которым прусскому королю возвращены все земли, у него завоеванные Россией, и возвращены даром, без всякого вознаграждения. Фридрих, со своей стороны, будто бы обязывался помогать русскому императору в предполагаемой им новой войне с Данией. Наконец, будто бы предполагалось уже не дипломатическими средствами, а просто вооруженной рукой против Саксонии и Польши сделать герцогом Курляндским принца Жоржа.

Эти слухи ходили по Петербургу и прежде, но теперь о них говорили как о совершившемся факте. Факт этот не столько волновал все общество, сколько гвардию, которой предстоял будто бы поход в случае войны.

У императрицы, более чем когда-либо, боялись бывать, и самые смелые перестали было посещать ее. Но теперь даже и к ней все чаще заезжали разные осторожные сановники ради любопытства, узнать что-нибудь. Но императрица знала менее, чем кто-либо, что совершается в кабинете государя.

Государыня жила, с переезда в новый дворец, в нескольких горницах на противоположном конце от государя и вела жизнь самую тихую и скромную. Она почти никуда не выезжала, и только иногда бывал у нее Никита Иванович Панин, воспитатель наследника, графы Разумовские, канцлер Воронцов, чаще же других княгиня Дашкова. Сама императрица иногда вечером отправлялась в гости к княгине Дашковой и там видалась с некоторыми офицерами гвардии. Одних она знала давно, а других ей представили недавно.

После Фоминой недели государыню стали просто осаждать сановники, сенаторы и члены синода и всякие нечиновные люди убедительными просьбами узнать содержание нового мирного трактата. Екатерина Алексеевна отлично понимала все громадное значение договора для общественного мнения. Чем ужаснее, невозможнее и позорнее для России окажется этот договор, тем более выигрывает та партия, которая теперь называет себя «елизаветинцами» и которой, по выражению Алексея Орлова, следовало без страха и искренне давно назваться «екатерининцами».

Однажды утром государыня вызвала к себе своего юного друга Екатерину Романовну Дашкову и встретила ее со слезами:

– Ну, княгиня, пришла пора доказывать слова делом. Если вы меня любите, вы должны непременно исполнить мою просьбу.

– Все на свете! – воскликнула Дашкова, засияв лицом.

– Да, вы всегда так: все на свете! Готовы будете сейчас, как птичка, взмахнуть крылами и взлететь в самое небо. А потом тотчас струсите и пригорюнитесь и, вместо того чтобы парить в облаках, начнете ползать, как букашка по земле.

– Мерсі за сравнение, – обиделась княгиня. – Оно и злое и несправедливое. Я сейчас же докажу вам, что умею летать. Что прикажете?

– Ехать сейчас же к Елизавете Романовне...

Дашкова двинулась всем телом и вытаращила глаза на государыню.

– Ну вот видите! – вымолвила та, улыбаясь.

– Но, ваше величество, вы знаете, что я с ней прекратила всякие отношения, что я, не роняя чувства собственного достоинства, не могу с ней знаться. Она бесстыдно приняла теперь свою роль... Она на днях переезжает в особое помещение, в этот же самый дворец...

– Все это я давно знаю лучше вас, но дело важное.

– Но зачем же я поеду?

– Во всем Петербурге, княгиня, только барон Гольц и, конечно, ваша сестра знают содержание нового мирного договора.

– Я вас уже просила не называть ее моей сестрой.

– Виновата, не спорьте о мелочах. Итак, Елизавета Романовна, помимо Гольца, знает наверное подробное содержание договора. Так как и государь и она тоже, *ils sont tous les deux discrets, comme deux coups de canon*², то в ваших руках, княгиня, дело огромной важности. Если вы поедете к ней, обойдетесь с ней ласково, то она расскажет вам все... Мы все будем обязаны вам, будем знать, какую кухню состряпал Фридрих! И будем знать *à quoi nous en tenir*³!

Дашкова стояла сумрачная, опустив голову. Она была умна и смела, в то же время крайне пылка и мечтательна. Постоянно грезилась ей великие подвиги и громкие дела, но все эти подвиги и дела всегда являлись в ее воображении в каких-то сияющих формах. Всякий подвиг был прежде всего поэтичен и прелестен. Если она мечтала о женской деятельности, то ее воображению являлась непременно Орлеанская дева. Но эта Иоанна д, Арк не являлась ей замарашкой, крестьянкой, пасущей стадо и в холод, и в дождь, а являлась прелестной, раздушенной пастушкой, окруженной барашками, увитыми розовыми ленточками. Эта Иоанна не являлась ей измученной, голодной, не слезавшей с лошади несколько дней, едущей на простой лошади и воодушевляющей своим присутствием тоже измороженных воинов. Она представлялась ей в золотой броне, скачущей на дивном коне, в дивном убранстве. И по мановению ее меча истребляются как бы сами собой враги ее отечества. Она берет города, как ветхозаветный герой: одним звуком трубным!

И в душе юной женщины, недавно вышедшей замуж, являлся постоянно кажущийся разлад. Она готова на подвиг самый трудный, самый страшный, но с тем условием, чтобы подвиг этот, с одной стороны, отозвался сразу во всей Европе, а с другой стороны, был бы тоже увит розовыми ленточками и опрыскан духами.

Когда государыня заговорила о просьбе, княгиня уже мечтала, что вот сейчас придется ей сделать что-нибудь высокое, знаменательное. А ей предлагают ехать к дуре сестре и выпытывать у нее то, что она может знать. Она к ней давным-давно не ездила, прервав всякие сношения, а теперь ее заставляют унизиться, дают ей поручение мелкое, неприятное, почти глупое. А главное, дают ей поручение бабье: поехать, посплетничать и выманить у сестры тоже какую-нибудь сплетню.

– Итак, что ж, княгиня? – вымолвила наконец государыня.

– Подумайте, ваше величество. Я не отказываюсь, но что ж я узнаю? Она глупа, но не до такой степени. Вероятно, она мне ничего не скажет или просто соврет, чтобы похвастать.

² Они оба слова не скажут даже под пушкой (*фр.*).

³ На кого нам рассчитывать (*фр.*).

Екатерина вздохнула:

– Согласна. Но покуда вы не поехали, не побывали у нее, вы этого не можете и знать. По моему мнению, если вы захотите, то сумеете выпытать всю истину. А она не может не знать всего договора. Я уверена, что государь за последние дни все выболтал ей.

После небольшой паузы Дашкова недовольным голосом выговорила:

– Извольте. Что ж? Мы, бабы, только на это и годимся.

– Нет, княгиня, бабы и на другое годятся. Я тоже баба! Но мужчины понимают, что из малых дел составляется большое дело, из больших – великое дело. Женщины не всегда понимают это. Вот вы умная женщина, а не хотите понять, как важно было бы для нас всех знать сегодня же вечером, в чем заключается договор и действительно ли подписан он.

Дашкова будто теперь только поняла значение того, что от нее требуют.

«Конечно, цель эта важная, – думала она, – но средство достижения этой цели – бабье. Это все слишком просто, глупо!» Вот если бы ей поручили составить une trame⁴, собрать кучку людей, замаскировать их и ночью, окружив дом Гольца, похитить у него все бумаги!.. О, тогда бы!.. Она еще вчера читала, что так поступили недавно с тосканским резидентом в Мадриде. Вот на такой романический подвиг княгиня полетела бы с наслаждением!

– Хорошо, я поеду, – выговорила она наконец сквозь зубы. – И даже сделаю так, как всегда поступаю с лекарством. Уж если нужно avaler une tisane⁵, то поскорее, сразу. Зажмуриться и проглотить!

– Пожалуй, сразу – хорошо, – улыбнулась государыня, – но когда что делаешь, не надо жмуриться: этим только себя обманываешь и как раз прозеваешь что-нибудь, хоть бы, например, муху с лекарством проглотить.

И Екатерина Алексеевна рассмеялась, но невеселым смехом. За последнее время ей редко случалось смеяться от души.

– Ну, с такой замечательно умной женщиной, как Елизавета Романовна, трудно прозевать что-либо! – презрительно сказала Дашкова, пожимая плечами, и прибавила: – En voilà une, qui n'inventerait pas la poudre⁶.

– De la poudre aux yeux... Que si...⁷ Поэтому советую вам все-таки дорогой приготовиться, княгиня, – сказала государыня. – Будьте мудрее змия, хитрее лисы и ласковее овечки, когда будете беседовать с графиней Воронцовой. Вечером мы будем вас ждать.

⁴ Заговор (фр.).

⁵ Выпить снадобье (фр.).

⁶ Это та, что не станет изобретать порох (фр.).

⁷ Пускает пыль в глаза... (фр.) (Игра слов: «la poudre» по-французски и порох и пыль.)

XXVII

Княгиня Дашкова заехала домой переодеться, чтобы быть у сестры в более простом платье, затем отправилась в дом отца.

Положение Дашковой при дворе было исключительное. Она прервала всякие сношения с сестрой, без боязни высказывалась, рисовалась и хвастала своей дружбой с гонимой, почти опальной императрицей и могла это без боязни делать именно благодаря только тому, что была сестрою фаворитки. С ней государь обращался милостиво и только шутил насчет ее дружбы к жене или искренне уговаривал:

– Напрасно вы променяли Романовну на Алексеевну. Сестра ваша – добрая душа... И вам очень, очень пригодится... И скоро! А ваша Алексеевна хитрая и злая... Она с человеком поступает, как с апельсином, высосет весь сок, а кожу бросит...

– А вы совсем с кожей скушаете! – отшучивалась Дашкова.

Княгиня не любила сестру или, скорее, презирала ее. Между ними ничего не было общего. Но в глубине души Дашкова все-таки должна была сознаться, что главной причиной ее чувства нелюбви к сестре и любви к государыне было возвышение этой сестры.

Это неожиданное и необъяснимое возвышение крайне некрасивой, глупой и дурно воспитанной сестры раздражало княгиню. Не только на нее, но и на всю свою родню, на двух сестер и двух братьев, княгиня почему-то смотрела немного свысока. Положение ее в этой семье было правда исключительное.

При рождении своем девочка, младшая в семье, неизвестно почему сделалась крестницей императрицы, только что вернувшейся из Москвы после коронации, и молодого великого князя, только что привезенного из Голштинии и объявленного наследником. Преемник девочки от купели сам только что был приобщен к православию и покумился с теткой.

Через года три умерла мать; овдовевший отец любил пожить весело и беззаботно и на пятерых детей не обращал никакого внимания. И вот брат его, канцлер Воронцов, у которого была только одна дочь, стал просить отдать ему на воспитание одного из детей и выбрал крестницу императрицы и наследника.

Воспитание с первого дня дается маленькой племяннице Екатерине то же, что и родной дочери, их воспитанница оказывается счастливо выбрана, она далеко не красива, но прилежна, умна и даровита. В двенадцать лет она уже тихонько запирается у себя на ключ по ночам и читает все те книги, которые только попадают ей в библиотеке дяди-канцлера. Скоро девочка развита не по летам, а образованна настолько, что удивляет познаниями окружающую полуграмотную среду. Но природный ум развивается односторонне, и она прежде всего делается пылкой мечтательницей. Воображение работало и, не находя пищи в окружающей обстановке, стало врываться с требованиями в личную обыденную жизнь... Явилась насущная потребность, жажда увидеть и в действительности, в своей собственной жизни, то, что было с восторгом узнано в разных книжках.

В пятнадцать лет юная графиня Воронцова встречает в тихую ночь на улице, при лунном свете, красивого незнакомца офицера, который вдруг с ней заговаривает, не имея на то права. Поэтому она тотчас чувствует, что это... все странно!.. Судьба! Она тотчас влюбляется и выходит действительно за него замуж. Отношения к мужу, затем отношения к двоим детям, наконец отношения к великой княгине, теперь императрице, – не любовь и не дружба, а обожание... смесь аффектации и сентиментализма. Потребность драмы и трагедии, романа и поэмы в пустой, обыденной жизни сделала княгиню приятной собеседницей, но невыносимой сожительницей и утомительным другом. Ежечасное преувеличение все уродовало!..

Положение ее друга, императрицы, сделалось вдруг действительно трагическим. Какая пища, какая манна небесная для женщины-фантазерки, мечтающей о геройских подвигах! И

княгиня отдалась всей душой делу Екатерины. И от зари до зари усердно, неутомимо, почти не имея покоя и сна, работала и работала для нее... воображением!

И поэтому самая кипучая деятельность выпадала на ее долю по ночам, в постели. Тут, среди добровольной бессонницы, брала она города, завоевывала скипетры и короны, спасала Россию, умирала на эшафоте!.. А Европа гремела в рукоплесканиях героине севера!..

Но государыня и из этой двадцатилетней мечтательницы сумела извлечь пользу. Крестница императора и родная сестра фаворитки, конечно, могла пригодиться всячески. Таким образом, и на этот раз княгиня была вызвана ею и послана с поручением, которое, помимо нее, совершенно некому было дать.

Княгиня вошла в гостиную сестры и не нашла в ней никого. Она постучала в следующую дверь и услышала голос:

– Здесь! Гудочек, что ль? Иди!

Переступив порог, княгиня не сразу нашла сестру. Елизавета Романовна оказалась в углу комнаты, на маленькой скамейке, перед раскрытой заслонкой сильно разожженной печи.

Внешность графини Воронцовой в эту минуту была особенно неприглядна. Елизавета Романовна была низенькая, крайне толстая женщина с жирным, как бы опухшим лицом, с большим ртом, с маленьким, острым носом, но как бы заплывшим жиром, и с крайне узенькими глазами, которые зовутся обыкновенно «гляделками».

Эта внешность удивляла многих иностранцев, и французский посланник Бретейль писал про нее своему двору, что фаворитка напоминает *«une servante de cabaret»*⁸.

Несмотря на позднее время, она была еще не причесана; волосы, спутанные на голове, торчали лохмами во все стороны; разбившаяся, нечесаная коса прядями рассыпалась по плечу и по спине. Гребень кое-как держался в этой косе, будто забытый еще вчера и ночевавший с ней, и, повиснув теперь боком, собирался ежеминутно упасть на пол. Кроме того, она, очевидно, еще не умывалась, и лицо ее было маслянисто. Она еще не одевалась, и на ней было только два предмета: измятая сорочка, а сверху нее накинутый на плечи старый лисий салоп, который, отслужив в качестве теплой верхней одежды, исправлял теперь должность утреннего капота.

Всякий день за все три времени года, исключая лето, Елизавета Романовна именно так, прямо с постели, не умывшись и не причесавшись, накидывала на себя этот салоп и босиком подходила к печке, заранее сильно растопленной; она садилась всегда на скамеечке и, с наслаждением грея перед огнем голые ноги, всегда при этом съедала около фунта коломенской пастилы и калужского теста. Прежде она делала это до сумерек и до вечера, теперь же могла делать это только часа по два, по три, а затем одевалась... Трудно было бы решить, о чем она думает, молчаливо пережевывая пастилу, как корова жвачку, и не спуская ни на минуту свои гляделки с раскаленных угольев печи.

Эта привычка вовсе не была изобретением графини Воронцовой. То же самое делала еще недавно покойная императрица; то же самое стали делать и многие столичные пожилые дамы, подражая государыне. Просидеть несколько часов, не умывшись и не одевшись, около огня, в одном ночном белье, прикрытом старым и, конечно, загрязненным мехом, было своего рода наслаждением этого склада жизни.

– А-а... – протянула Воронцова, увидя вошедшую. – А я думала, это Гудович...

– Здравствуй, сестра! – произнесла княгиня, стараясь придать лицу более веселое и ласковое выражение.

Воронцова, давно не видавшая сестру, была удивлена, но, как всегда, ничем не выразила этого. Она, собственно, бесстрастно относилась ко всему, и только ящики с пастилой, в особенности с финиками, заставляли ее оживляться.

⁸ «Служанку из кабака» (фр.).

– Здравствуй, садись, давно не видались. Что ты поделываешь? Все со своей Алексеевной шепчешься?

Дашкова вспыхнула. Это прозвище, данное государем своей супруге, казалось, разумеется, оскорбительным Дашковой в устах этой глупой сестры. Прежде она не посмела бы так назвать государыню. Давно ли эта перемена и почему?! Княгиня хотела было заметить сестре все неприличие ее выходки, но раздумала и, взяв кресло, села и стала ее разглядывать.

– Что это, сестрица? – выговорила княгиня невольно. – Посмотри на ноги свои. Подумаешь, ты по дождю бегала да по грязи.

– Да, – вымолвила Воронцова, вытягивая одну ногу и оглядывая ее, – вот хочу все вымыть, да все не время... мешают...

Дашкова дорогой приготовила план, как вывести все у сестры относительно мирного договора.

Воронцова была настолько глупа, что с ней было немудрено хитрить, но, однако, все-таки в данном случае и она понимала важное значение того, что могла знать лично от государя.

Покуда княгиня собиралась с мыслями, как начать беседу, и со своего высокого кресла бессознательно разглядывала неказистую фигуру сестры на полу, Воронцова опростала целую картонку с пастилой, бросила ее в огонь и, взяв подол сорочки в руку, вытерла себе засахаренные губы.

– Ну а вы с ней что? – заговорила она лениво, подразумевая государыню. – Всё вместе! Читаете французские книжки? Своего господина Дерадота наизусть учите?

– Такого нет, – отчасти презрительно отозвалась княгиня. – Дидерот есть на свете, хорошие книжки пишет, а Дерадота уж ты сама выдумала.

– Я, сестрица, не могу себе голову и язык ломать всякой пустяковиной да французские прозвища наизусть учить! – добродушно отозвалась Воронцова. – А вот государь говорил, что этот ваш... Дедарот – сын слесаря...

– Правда... Его отец, кажется, делал ножи и продавал... Но что ж из этого?..

– И в остроге он сидел за эти книжки, которые вы все читаете...

– Да... Но ты скажи государю от меня, что его Лютер тоже в остроге сидел, то есть в заключении!.. – усмехнулась Дашкова и прибавила: – Впрочем, что об этом толковать. Это не по твоей части...

Княгиня просидела у сестры около двух часов, стараясь быть как можно ласковее, и, кроме того, обещала ей вечером прислать полпуда венецианского теста, вроде пастилы.

И ее дело увенчалось полным успехом. Дашкова, уезжая от глупой сестры, которая была, по выражению государыни, «discrete comme un coup de canon»⁹, увозила самые подробные сведения обо всем мирном договоре с Фридрихом II.

Она узнала, что договор подписывается на другой день окончательно, узнала даже цифру того войска, которое оба государя обязуются доставить друг другу в случае войны с кем-либо из врагов; кроме того, узнала и цифру суммы денег, которую государь обещался препроводить другу Фридриху в случае нужды его в деньгах. Сумма эта была огромная и заключала в себе все то, что могло найтись в эту минуту во всем российском казначействе.

Едучи домой, Дашкова была в духе и думала, весело усмехаясь:

«И не дорого! За государственную тайну – двадцать фунтов пастилы. Le heros de la Bible a vendu ses droits d'ainesse pour un plat de lentilles!..¹⁰ Понятно, когда он, бедный, умирал с голоду! А ведь эта, наевшись пастилы, за пастилу и продала...»

⁹ «Молчит даже под пушкой» (фр.).

¹⁰ Один библейский персонаж променял право первородства за тарелку чечевичной похлебки!.. (фр.)

XXVIII

Едва только княгиня уехала от сестры, как к Воронцовой явился ее первый приятель, а равно и любимец государя Гудович.

Он носил звание, генерал-адъютанта, но, в сущности, адъютантом не был. Как истый хохол, Гудович был ленив до невероятности и любил только поесть, поспать и выпить. Ни на какое дело он не был способен. Леность его доходила до того, что он почти никогда не ходил пешком и не мог простоять более получаса на ногах. Когда он сидел, то всегда садился полулежа; даже у государя, когда не было посторонних свидетелей, Гудович имел право быть в его присутствии в этом полулежачем положении на каком-нибудь диване.

Другим адъютантам своим государь, конечно, этого не позволял, но Гудович был его любимец, и за что любил он его – трудно было бы сказать, так как Гудович терпеть не мог военщину, смотры, экзерциции и все подобное. Но зато Гудович был постоянным кавалером Воронцовой и, в сущности, скорее ее адъютантом. Он сопровождал её в ее поездках, во всякое время дня и ночи заезжал за ней, увозил и доставлял обратно в дом отца ее. Кроме того, обладая талантом смешно рассказывать разный вздор, он ежедневно передавал ей все городские сплетни. Для Елизаветы Романовны он был незаменимый и неоценимый человек, так как к нему обращалась она откровенно за советом и за разъяснением всего того, чего не понимала. А такового было много на свете!

Гудович входил поэтому к Воронцовой без доклада и всегда заставлял ее в любимом костюме, за любимым занятием, то есть за пастилой перед печкой, в салоне. Их отношения были настолько коротки, что Елизавета Романовна не стеснялась принимать приятеля в этом костюме, который был ни ночным, ни дневным.

На этот раз Воронцова, сбросив салоп, начинала уже одеваться, когда в соседней комнате раздались тяжелые шаги Гудовича.

- Ты, что ль, Гудочек? – крикнула она в полурастворенную дверь.
- Нет, не я, – шутливо отвечал Гудович. – А что, нельзя разве? Одеваешься?
- Сейчас, обожди минуту.
- Ладно, только поскорей, мне не время.
- А не время, так входи.

Воронцова, успевшая только обуться, не накинула на себя салоп, а как была... приняла приятеля и продолжала одеваться при нем.

– Я на минутку, – сказал Гудович, входя, – передать тебе хорошую весточку... Такую, Романовна, весть, что ахнешь. Барон послал меня к вам челом бить, просить покорнейше в знак его дружбы и почтения принять от него безделушку на память. А безделушка сия, родимая, в несколько тысяч червонных. Ну, что скажешь, толстая моя?

– Что ж, добрый человек. Очень бы и рада, да ведь сам знаешь, Гудочек, себе дороже будет. Разнесут меня в Питере, заедят разные псы. А уж «ее» – то приятели так и совсем загрызут.

– Ну, на это нам наплевать: ее не ныне завтра мы с рук сбудем. Я на этот счет, Романовна, такой секретец знаю, что ахнешь тоже. Ей-богу! Шлиссельбургскую-то крепость, – тише выговорил Гудович, – очищают, Ивана Антоновича в другое место переводят, а там разные свеженькие решеточки устраивают. А для кого? Как бы ты думала? Для нас, что ли?!

– Неужто? – поняла Воронцова, и лицо ее расплылось в радостной улыбке.

– Верно.

– Как же он мне вчера ничего про это не сказал?

– Он вам une surprise, как говорят французы, готовит. Ну как же, Гольцово-то жертвоприношение?

– Да боюсь, загрызут. Будут говорить, что это за мои какие хлопоты для короля. А ты сам знаешь, я в эти дела не вмешиваюсь. Кабы я была завистливая да падкая на всякие подарки да почести, так нешто бы теперь я была по-старому графиней? Давно бы уж императрицей была.

– Да и будешь, Романовна, будешь, – шутил Гудович. – Толста вот ты малость да пухла лицом, а то бы совсем Марья-Терезья. Ну так как же? Какой Гольцу ответ?

– Не знаю. Скажи ты, Гудочек. Если бы то было варенье какое или хоть какое дешевое колечко... А то, поди, верно, какая-нибудь богатая ривьера.

– Да ривьера не ривьера, а букет алмазный. Но грызть никому тебя не придется, потому что дело все он по-немецки устроил. Букет вы получите, а от кого он – знать никто не будет, и все будут думать, что государь поднес!

– Как же так?

– Уж так все подведено. Только Гольц, я да ты – трое и будем знать, какой такой букет. Заказан он у Позье.

– У Позье? – ухмыльнулась Воронцова.

– А то где ж? Так будет сработан, что такие вещицы разве только у покойной царицы бывали. Заказывал не сам барон, а через какое-то тайное лицо, так что сам Позье не знает, кто заказывал. А получать я pošлю верного человека с особенным билетиком.

– Вот что, – выговорила Воронцова.

– Говорю тебе, по-немецки подведено.

– Ну, это другое дело. А государю можно будет сказать, от кого получила?

– Государю-то, известно бы, можно. Да ведь он, знаешь, Романовна, на язык-то слаб. Лучше уж скажешь ему, что сама купила. Ну, да это видно будет. То-то ахнут наши барыни, как прицепишь букетец-то в несколько тысяч червонных. Ну, прости, я, стало быть, прямо отсюда к Гольцу сказать, что ты благодарствуешь. А встретите его где, то скажите сами: спасибо, мол. Будет вам нужда – я, мол, всей душой готова служить!..

Гудович уж собрался уходить, когда Воронцова остановила его вопросом:

– Гудочек, а как по-твоему, с чего это он меня дарить вздумал?

Гудович почесал в затылке, помолчал и выговорил:

– А по его глупости, матушка, дурак он – вот что. Да и денег фридриховских у него куры не клюют. Надо полагать, что это все ради нашего нового трактата. Ведь на днях трактатец государь подмахнет. Ну, вот Гольц в горячее-то время и одаривает всех; все боится, а ну-ка я, либо принц, либо вот ты остановим государя, отсоветуем. Знает он, что государь – человек добрый, слабодушный, если кто здорово привяжется, да начнет пугать, да стращать, так живо и отговорит. Вот, на мой толк, барону и пришло на ум: ну как Романовну другой кто задарит да она отговаривать учнет, дай лучше я забегу да поднесу ей что-нибудь. Да и кто его знает еще... Сам, вероятно, наживет на букете.

– Как то ись наживет? – не поняла Воронцова. – Что ты?

– Эх ты, простота! Как? Поставит его Фридриху в счет вдвое супротив его цены. Наши послы завсегда это делали. А кроме того, еще скажу, у нас в столице умные свои люди есть, родная, кои думают, что ты простой прикидываешься, а то и дело об европейских событиях с государем толкуешь и по наговору канцлера великие дела вершишь. Гольцу известно, что родитель твой зело против трактата, да и дядя тоже... Ну, думает, подарю Воронцовой букетец – может, и тятенька с дяденькой ласковее будут. Он мне вчерася вечером, придравшись к моему слову, взаймы тысячу червонных дал. Я и не просил, а только охнул при нем, что дорого очень все в Петербурге да что новый мундир мой много стоит. Ну, он мне сейчас и предложил взаймы.

– Так ведь это же взаймы, – заметила Воронцова. – Букет-то нешто тоже придется мне ему после подписания трактата отдавать?!

Гудович рассмеялся:

– А я нешто отдам назад? Э-эх, Романовна, куда ты проста. За то я тебя и люблю. Ну, мне пора...

Вернувшись домой, Гудович нашел у себя адъютанта государя, Перфильева, и приятеля князя Тюфякина. Перфильев был совершенной противоположностью Гудовича.

Он действительно исправлял адъютантскую должность при государе, и довольно мудреную и утомительную. Что бы ни понадобилось, все делал Перфильев. Часто случалось ему по несколько часов кряду не сходить с лошади. На нем же государь подавал пример, так сказать, всем офицерам гвардии. Так, когда был отдан приказ учиться фехтованию, то Перфильев стал первый вместе с принцем Жоржем брать уроки у Котцау. Когда был принят прусский артикул с ружьем, Перфильев опять-таки первый выучился ему.

Из всех окружающих государя Степан Васильевич Перфильев был самый умный, добрый и дальновидный. Он видел и понимал все совершавшееся на его глазах, и если бы он имел большие влияния на дела, то, конечно, многое бы пошло иначе.

Главная беда состояла в том, что Перфильев, как это часто встречается, считал себя глупей, нежели он был в действительности. Часто, видя что-нибудь, что казалось ему опасным и вредным для правительства государя, он убеждал сам себя, что, стало быть, так надо, что он в этом ничего не смыслит. Перфильев очень бы удивился, если бы ему сказали, что он умнее всей свиты и приближенных государя; очень бы удивился, если бы ему сказали, что принц Жорж глуп, а барон Гольц продувной плут, то есть истинный дипломат. Сам Перфильев бесознательно понимал это, но вместе с тем не доверял своим суждениям.

Зато у честного, умного и прямодушного Степана Васильевича было три слабости, в которых даже его и винить было нельзя. Это были три слабости его времени, его среды и нравов столицы. Он любил редко, но метко выпить. Любил тоже запоем, несколько дней проиграть, не раздеваясь и не умываясь, в карты, до тех пор, покуда не спустит все, что есть в карманах. В-третьих, он был падок на прекрасный пол, но не из среды большого света. Женщины светские для него не существовали. Зато не было в Петербурге ни одной приезжей шведки, итальянки, француженки, с которыми бы Перфильев не был первый друг и приятель.

Но, обладая этими тремя слабостями своего времени, Перфильев отличался от других тем, что знал, где граница, которую порядочный человек не переступает.

Проиграв хотя бы и большие деньги, он не ставил ни одной карты и ни одного гроша в долг, и, таким образом, карточных долгов у него никогда не бывало ни гривны, а, наоборот, за другими пропадали выигранные суммы. Часто видели Перфильева веселым, но никогда пьянство не доходило у него до безобразия и до драки. Напротив того, чем пьяней бывал он, тем остроумнее и забавнее.

Гудович, вернувшись, нашел в своей квартире и друзей, и большой запечатанный пакет. В этом пакете оказалась бумага, по которой он мог получить от голландца-банкира сумму в тысячу червонцев, и, кроме того, была вложена завернутая в бумажку игральная карта с нарисованным на ней букетом.

Перфильев и Тюфякин, близкие люди Гудовича, удивленные разрисованной игровой картой, тотчас приступили к нему с вопросом.

– Это, голубчики, денежный документ мне самому. А карта эта – такая штука, что если бы мне дали выбирать, так я бы и тысячу и три тысячи червонцев отдал бы, а карточку эту взял.

– Ну вот! – воскликнул Тюфякин, и глаза его даже блеснули.

– Верно сказываю, денежки мне, а карточка эта не мне. И от кого – сказать уж никак не могу. Я с ней должен послать доверенного человека к бриллианщику Позье, а он, получив ее, выдаст вещичку алмазную ценою в пять тысяч червонцев, которые он уже вперед за работу получил. Только вы об этом никому ни слова. Дело тайное! По дружбе сказываю. Сам Позье не знает, кто заказал, кто деньги послал, кто за работой приедет и кто его вещицу носить будет. Вот как! – весело болтал Гудович, и, сунув денежный документ в боковой карман, он тща-

тельно запрятал игральную карту в маленький потайной кармашек камзола, застегивавшийся на пуговицу.

– Ну, сегодня я угощаю, – сказал он. – Приезжай через час в «Нишлот», – обернулся он к Перфильеву.

– Нет, не приеду. На Гольцевы деньги пить не стану!

– Догадался, разбойник! – воскликнул Гудович.

– Мудрено очень... Бумага на банкира. Разумовские, что ли, этак деньги дают.

– Приезжай, голубчик, не упрямясь, – проговорил Гудович. – Ведь это я займы взял.

– Как не займы! Хорош заем! – рассмеялся Перфильев. – С платежом бессрочным в аду уголками.

– Он и тебе ныне завтра предложит то же самое, – добродушно сказал Гудович.

– Нет, братец, мне не предложит. Уж пробовано, и в другой раз не сунется.

Перфильев уехал, а князь Тюфякин объявил Гудовичу, что он к нему на весь день да и ночевать просится, так как, соврал он, у него в квартире белят стены и потолки.

– Ну что ж, отлично, Тюфячок. И денежки у нас есть, спасибо Гольцу. Мы сейчас пошлем всех своих оповестить, чтобы собирались скорее в «Нишлот». Ну что, у тебя спина-то после орловского битья прошла аль еще ноет?

– Малость легче, – задумчиво ответил князь.

Через часа полтора человек двадцать разных прислужников и прихлебателей любимца государя собрались в «Нишлоте». Главный запеваля этого кружка Гудовича был офицер голштинского войска Будберг, очень милый и веселый малый, давнишний приятель Фленсбурга, которого он и ввел в кружок. В сумерки вся компания была мертво пьяна, а пьяней всех, озорней и сердитей был князь Тюфякин.

– И что с ним? – говорили многие. – Вина выпил мало, а гляди, как его разобрало.

Тюфякин, покуда еще другие продолжали пить и орать, покачиваясь, доплелся до одного дивана, где лежали ворохом давно снятые мундиры и камзолы кутящей компании, и повалился на них, собираясь спать.

Если бы компания была не мертво пьяна, то заметила бы, как рука князя долго шарила в куче снятого платья, отыскивая один из карманов одного из камзолов. Скоро Тюфякин снова поднялся и стал жаловаться на нестерпимую боль в желудке.

– Ох, болит, даже хмель вышибает...

И незаметно, осторожно он скрылся из горницы и из трактира. Когда он очутился на улице, лицо его восторженно сияло. Если он был совсем трезв, когда притворялся пьяным, то теперь, пожалуй, опьянел, но не от вина, а от радости.

Игральная карточка Позье была в его руках.

XXIX

В этот самый вечер государыня умышленно пригласила к себе несколько влиятельных в Петербурге лиц.

Гости стали собираться как-то странно, по очереди: государыня каждому из них сказала накануне: «Нам надо побеседовать, приезжайте прежде других», – и каждому назначала она час. Таким образом делала она всегда и успевала переговорить или наедине, или собрав двоих-троих лиц прежде всех других. В шесть часов явился преосвященный Сеченов.

Архипастырь передал государыне слух о трех новых правительственных мерах, повергнувших все белое духовенство в ужас: о военной службе для детей духовных, о выносе икон из церквей и об опечатании всех домовых церквей, которых было у столичных вельмож очень много. После часовой беседы государыня сама предложила Сеченову не оставаться у нее.

– Вам с этим народом скучно будет, – сказала она. – Да и пересудов не будет, коли никто не узнает, что вы у меня были.

– Истинно, – сказал Сеченов и стал собираться.

Когда он уже был на пороге гостиной, провожаемый государыней, он обернулся, вздохнул и выговорил:

– Да, ваше величество, мы не молодцы и не воины, мы Божьи слуги. Мы не можем ничего начать, но будьте уверены, что если бы что начали молодцы гвардейцы, то я, как старший член, ручаюсь за весь Святейший синод, ручаюсь даже за все духовенство столицы. Для нас всех вы мать-спасительница, заступница за веру, на которую воздвиг Господь новое гонение.

– Благодарю вас, но что об этом мечтать, – вымолвила государыня. – Все это одни грезы, и опасные даже грезы!

Едва только Сеченов отъехал от дворца, к государыне явился воспитатель наследника, Панин. Он вошел со словами:

– Ну что, продана Россия, будем на хвосте у Фридриха воевать за него со всей Европой и ему же деньги платить?

– Я еще ничего наверное не знаю. Екатерина Романовна привезет вести.

Панин, сильно взволнованный, сел перед государыней. Он долго молчал, несколько раз взглядывал на нее как-то странно и наконец выговорил:

– Послушайте, ваше величество, я все хочу побеседовать с вами о важном деле, даже о двух. Одно пустое...

– Ну что ж, – улыбнулась ласково государыня, – давайте беседовать. Время еще есть, гости еще не скоро съедутся.

– Первое дело... Правда ли, что у Гольца через неделю маскарад?

– Сказывали мне это, Никита Иванович. Да не верится. Ведь трауру только четыре месяца минуло.

– Славно! Ну, черт с ним, с немцем! Второе дело: скажите мне, в какой должности состоит при вас моя пустельга племянница?

– Ни в какой. В должности друга. Я очень люблю Екатерину Романовну, – изумилась государыня от неожиданности вопроса.

Панин пристально глядел ей в лицо и отчасти строго.

– Вы понимаете, что я хочу сказать. Я ее тоже очень люблю, но ведь она верченая, с толчком в голове! Начиталась зря всяких книжек, голова у нее кругом и пошла, а оттого она ни мужчина, ни женщина – ни пава, ни ворона! Семейных и хозяйских занятий не любит, на службу государственную вступить не может, а между тем вы с ней постоянно беседуете о самых щекотливых делах. У нее собираются каждый вечер всякие офицеры гвардии, не нынче завтра дойдет это до государя – и с ней будет худо. И сестрица ей не поможет. Да она-то все равно. Но

вас она может замешать в какое-нибудь глупое дело. Вот хоть бы недавно, будучи у нее, нашел я развернутый том французской истории, и несколько страниц все исписаны карандашом всякими замечаниями. А что бы, вы думали, она читала и на чем свои пометки делала?

Екатерина вопросительно улыбнулась.

– Ну, отгадайте. Да еще прибавила мне, что она изучает это историческое событие, как действо народное, могущее повториться во всякой стране.

– *La conspiration des poudres!*¹¹ – рассмеялась государыня.

– Нет, лучше того. Варфоломееву ночь!

Государыня начала смеяться.

– Нет, оно не смешно, – угрюмо выговорил Панин. – Представьте себе, что ее захватят со всеми ее бумагами, письмами, записочками к разным гвардейцам да найдут эту книжку с ее заметками. Да она сама еще целый ворох со страху приврет. Всех и переберут и ушлют в Сибирь. За примером таким ходить недалеко. Я не стар, а на моей памяти бывали такие переборки в Петербурге.

– Но что вы, Никита Иванович, хотите сказать? – вымолвила государыня.

– Хочу сказать, чтобы вы с моей племянницей не связывались и тем себя не погубили. Тяжело жить, да что ж делать, может, все обойдется.

– Никаких общих дел у меня с княгиней, поверьте, нет. Мы только вместе от скуки забавляемся, читаем и переводим. Из всех офицеров, которые бывают у нее, я ни одного не знаю. Зачем они собираются, я тоже не знаю. У меня желание одно: уехать из России прежде, чем меня постригут.

Панин поглядел в печальное лицо государыни и вымолвил:

– Ну, до этого еще, Бог милостив, далеко.

– Нет, недалеко, – тихо выговорила Екатерина и хотела что-то прибавить, но появление гетмана Кирилла Григорьевича Разумовского заставило ее замолчать. Панин недолюбливал гетмана, и потому разговор не клеился. Но вскоре стали собираться другие гости, и в числе прочих явился молодой артиллерийский офицер.

Панин с изумлением встретил появление могучей фигуры известного буяна и, обратившись к одному из гостей, Бибикову, вымолвил, пожав плечами:

– Этот Орлов зачем здесь? И по какому праву? Что за новый придворный?.. Трактирный битка!

И Панин, сильно не в духе, незаметно скрылся из гостиной и ушел на половину наследника.

Довольно поздно явилась княгиня Дашкова. Она долго просидела дома, будто ради того, чтобы написать письмо к мужу. Княгиня была необыкновенно довольна собой. Поручение государыни, которое было обидно утром, как малозначащее, теперь казалось ей громадным подвигом. Во всяком случае, она знала, что на вечере государыни ее ждут нетерпеливо, и она прособиралась, желая, по французской пословице, *se faire désirer!*¹²

Действительно, когда княгиня вошла в гостиную государыни, то беседа смолкла, все вопросительно, нетерпеливо взглянули на нее. Говорить, однако, было невозможно, так как был непрошенный гость – гетман, при котором подобный разговор был бы величайшей неосторожностью. Как нарочно, гетман на этот раз сидел и не уезжал. Некоторые из более близких людей стали уезжать. В числе других собрался и цалмейстер Орлов. Он промолчал весь вечер и сумрачный просидел в углу гостиной. Только изредка, когда можно было быть незамеченным, он взглядывал мельком на государыню, и взор его был печален.

Когда он стал прощаться, государыня отвела его в сторону, к окну, и вымолвила:

¹¹ Пороховой заговор (*фр.*). (Имеется в виду Пороховой заговор 1606 года в Англии.)

¹² Заставить быть желанной! (*фр.*)

– Куда же вы?

– Пора, – тихо отвечал Орлов.

– Что с вами? Вы печальны. Нет ли нового? Может быть, опять набуянили, – усмехнулась она, – и опять будете ездить и просить разных заморских красавиц за вас заступиться? – шутила государыня.

Но Орлов не усмехнулся, грустно смотрел ей в лицо и наконец выговорил с особенной интонацией:

– Заморские красавицы прямодушны, искренни, действуют прямо, или говорят «да», или говорят «нет», а не играют с человеком, как кошка с мышью.

Эти слова имели, очевидно, какой-то особенный смысл.

– Завтра будет подписан мирный договор! – сказала государыня.

– Пускай... Бог с ним! Мне не до того... Я про свое...

Государыня помолчала несколько мгновений, и наконец, окинув быстро всех гостей и видя, что всякий занят общим разговором, она вымолвила тихо:

– Всему свой час. Когда час пробьет, тогда совершается всякое на свете. И концу мира свой час пробьет! – улыбнулась она.

– Но когда, когда?! – громче выговорил Орлов, так что двое из гостей обернулись на его страстный голос.

– Когда вы будете более осторожны и будете не так громко говорить, – рассмеялась государыня. – Во всяком случае, – прибавила она странным голосом, будто упавшим от волнения, – тот час близится, скоро пробьет.

– Я давно это слышу, ваше императорское величество, – несколько раздражительно выговорил Орлов. – Но когда пробьет этот час?

– Сколько теперь на ваших? – выговорила Екатерина.

Орлов не понял.

– Я спрашиваю, сколько теперь времени на ваших часах.

– Десять, – выговорил Орлов, недоумевая.

– Ну, стало быть, через три часа этот час пробьет.

Лицо Орлова вспыхнуло, глаза сверкнули, он как-то задохнулся и отступил на шаг.

– Это шутка! – едва слышно выговорил он.

Государыня, ничего не отвечая, подошла к гостям, сказала два слова любезности и исчезла из гостиной.

Орлов хотел откланяться, но не мог, пришлось дожидаться ее возвращения.

Когда спустя четверть часа государыня снова явилась в гостиную, он, недоумевая и глядя ей в лицо, рассеянно простился со всеми и вышел из гостиной, как бы в каком-то тумане.

В коридоре к нему близко подошел доверенный лакей государыни, Шкурин, и передал ему маленький клочок бумаги, сложенный четырехугольником.

– Приказали вам передать, Григорий Григорич, – сказал Шкурин.

Выйдя на улицу, Орлов поскакал домой, нетерпеливо вбежал в свою квартиру и при свете фонаря, с которым встретил его старик Агафон, он прочел следующее:

«Час пробил! Мирный трактат завтра подписывается. Мы должны заключить другой, свой трактат. Пора слов прошла, наступила пора действий. Через три часа я жду вас у себя для военного совета перед генеральным сражением».

– Фошка, Фофоска! – воскликнул Орлов как сумасшедший и так бросился обнимать дядьку, что от неожиданности восклицания и объятий Агафон выронил фонарь из рук. Стекла зазвенели, разбившись вдребезги, и свечка, вывалившись, покатилась по полу.

– Фофоска, целуй меня! – вскричал вне себя Григорий, в полутьме обнимая старика.

– Ох, напугали... Даже поджилки затряслись... – отозвался Агафон.

– Какое сегодня число, Фошка?

– Какое! Теперь уже ночь, теперь надо считать уж двадцать четвертое! – ворчал Агафон, поднимая свечу и битые стекла...

– Ну, Фофوشка, когда-нибудь мы с тобой закажем мраморную доску да напишем на ней золотыми буквами: «Двадцать четвертое апреля!» И будем всякое утро приходить к этой доске и земные ей поклоны класть.

– Полно вам! – крикнул Агафон. – Только и знаете, что грешите. А Бог-то все слышит и помнит!

– Стало, память-то у Господа не твоя, Фошка!

– А ну вас!.. – отмахнулся отчаянно Агафон. – С вами и сам к чертям на сковороду угодишь!

XXX

В тот же самый вечер на квартире князя Тюфякина тоже начиналось великое дело, своего рода подвиг.

Тюфякин часов в семь уехал из «Нишлота», заехал к еврею Лейбе и, объяснясь с ним, предложил сделку. Не сразу согласился еврей на страшное дело. Однако жадность взяла верх, и он обещал быть у князя через час времени. Это время нужно ему было, чтобы перевезти жену с ребенком в другое, безопасное место. Теперь князь, озабоченный, сидел в кресле перед кружкой пива и при малейшем звуке в доме с беспокойством глядел на дверь. Близ него на диване лежала полная форма преображенского офицера, уже поношенная.

Это был мундир, который носил князь до перехода своего в голштинцы. С тех пор мундир валялся где-то в комод. Князь его достал и собственными руками вычистил щеткой, запершись в комнате на ключ. Единственного своего лакея, Егора, он спровадил с квартиры и не приказал являться ранее поздней ночи.

Наконец за дверью раздался знакомый князю голос. Князь вскочил, отворил дверь и впустил еврея Лейбу.

– Что ж ты, иуда! Ошалел, что ли? Я тебя сто лет дожидаясь! – воскликнул он. – Что ты думаешь, он всю ночь не хватится пропажи? Ведь девятый час.

– Нельзя было, – угрюмо проговорил Лейба.

– Нельзя было! Проценты ростовщицьи вытягивал с кого-нибудь клещами, а тут тысячное дело пропадает, черт эдакий!

– Нет, ваше сиятельство, – ехидно выговорил еврей, – не до процентов теперь и, по правде сказать, сбыв жену к приятелю, чуть было опять не повез домой – страх берет: ну, как он уж хватился! И теперь там...

– Да дурак ты эдакий! Разве он может сам туда ехать! Ведь все дело – тайное. Покуда один другому будет разяснять пропажу – целый день пройдет! Да нечего бабой плакаться. Решайся. А то другого найду. Даже есть у меня другой!

Еврей взглянул на князя, глаза его сверкнули, он будто испугался.

– Уж коли пришел, стало быть, решился, – выговорил он злобно. – Только помните, коли вырежут мне ноздри, заклеят лоб да накажут плетью – я вас выдам! Все на вас свалю, скажу: и грабил не для себя. Что ж, ведь правда. Я ведь покупаю, а не краду.

– Ладно, покупатель. Этого я не боюсь. Будешь себя уберегать от клейма и плетей, а тем и меня сбережешь. А притче тебя для такого дела нету. Ну, вот мундир – надевай.

Лейба встал, взял с дивана всю форму преображенского офицера и как-то странно вздохнул, будто дыхание на мгновение сперлось в груди его.

– Ишь, и этого даже боится, одежи офицерской, – рассмеялся презрительно Тюфякин. – Нацепляй скорее. Время уходит.

Князь встал, запер дверь снова, Лейба, молча и сопя, стал раздеваться и наконец надел мундир. Новая одежда настолько изменила фигуру еврея, что Тюфякин даже удивился.

– Диво просто! – воскликнул он. – Вот даже, как скажу, повидай тебя офицером, так потом в твоём кафтанишке и не признаешь, что тот же самый.

– Толкуйте!

– Шпагу-то не этак прицепил, вот дурень! Да застегни камзол-то, ныне за это с вашего брата офицера строго взыскивают. Вишь, и не служил, а уж в каком чине, – шутил князь, оглядывая Лейбу. – Ну а вот карточка родимая. Не потеряй!.. – выговорил он даже испуганно при мысли о потере игральной карты.

Через несколько минут Тюфякин остался один в квартире. Он то садился, то вставал, ходил по горнице, опять садился, и наконец волнение его дошло до такой степени, что он заметил сам, как руки и ноги трясутся у него.

Пройдя еще несколько раз по горнице, он вспомнил, что окно уже выставлено, и отворил его; подышав чистым воздухом, он снова тяжело опустился в кресло.

– Фу, господи! – воскликнул он и закрыл лицо руками. – Вот до чего доводит треклятая деньга! Ах, батюшка, родитель! Кабы ты мне из всех вотчин второй твоей женки оставил хоть бы одну, не было бы этого. Не осрамил бы я твое честное имя! Да и сам-то я, управительствуя у мачехи, зевал, думал, видно, что она бессмертная. Теперь что будет? Чем пахнет? Ловко подведено, а все ж таки можно лапу в западне оставить. Лапу? И весь останешься, коли Гудович хватился, бросился сам к Позье да Лейбу там накроет! О господи! Пудовую свечу поставлю завтра, если все обойдется!

И Тюфякин, не отнимая рук от лица и головы, просидел в кресле неподвижно более часа.

В то же время Лейба в одежде преображенного офицера шел по направлению к Полицейскому мосту. Сначала он шел медленно, несколько раз останавливался и тяжело вздыхал, как если бы пробежал бегом несколько верст. Один раз он остановился и, простояв несколько мгновений молча, уж будто поворачивал назад, но махнул рукой, будто взбесился сам на себя, и быстрыми шагами направился далее.

«Я в стороне, – думал он. – Меня князь посылает за своей вещью. Я ничего не знаю... А мундир? Да. Зачем мундир надел, коли простое поручение справляешь?»

Через четверть часа Лейба позвонил у маленького подъезда с маленькой вывеской над дверями.

Когда мальчишка-подмастерье отворил дверь, то переодетый преображенный офицер спокойно, уверенно и даже бойко вошел в переднюю и велел доложить господину Позье, что один офицер явился к нему по одному ему известному делу.

– Вот это объяснит вам все! – сказал Лейба, подавая карту, когда Позье вышел к нему.

– А? Конечно, конечно...

Старик женевец тотчас же попросил незнакомца войти. Он взял карту с рисунком букета и оглядел офицера с ног до головы.

– Готово-с. Второй день ожидаю.

– Я немного запоздал, – заговорил Лейба, – но невиновен в этом. Вельможа, меня присылающий, хотел было отложить до завтрашнего утра, а потом раздумал и послал чуть не ночью.

– Все равно, букет давно готов!

Позье вышел в другую комнату, свою мастерскую, унося карту с рисунком. Через несколько времени он явился, неся большой футляр, отделанный малиновым бархатом. При свете канделябра о шести свечах, который вынес за ним мальчишка-ученик, Позье поставил футляр на стол... и раскрыл его.

Казалось, что помимо внесенного канделябра зажгли еще два или три. Яркий свет разлился лучами по всей комнате из того, что оказалось в футляре. Это был великолепный бриллиантовый букет, замечательно тонкой работы и с очень крупными камнями.

Лейба почти задохнулся. Глаза его, устремленные на этот сияющий и сверкающий букет, налились кровью. Если бы старик женевец сам не наслаждался в эту минуту впечатлением, которое производит его детище и над которым он трудился так прилежно и усердно, то он, конечно, заметил бы, какой хищнический, грабительский взгляд устремил на бриллианты неизвестный посол неизвестного вельможи.

Прошло несколько мгновений молчания.

– Ну что? Какова работа! Каковы камни! Ведь тут камней, право, на все пять тысяч червонцев. Я почти ничего не нажил себе барыша этой работой. Когда-то к коронации покойной императрицы я сделал такой же, а он был оплачен мне в восемь тысяч. Такого теперь во всем

Петербурге ни у кого нет. И, признаюсь вам, я не буду спать ночей, покуда не увижу и не узнаю, кого украсит мое произведение. Мне даже обидно, что господин вельможа не доверился мне.

Лейба не слушал, он ждал, что Позье передаст ему футляр. Сам же он боялся дотронуться до него. Ему казалось, что в ту минуту, когда он сам возьмет футляр со стола, раздастся над ним громовой удар, Позье бросится на него, а из-за дверей выйдут спрятанные солдаты и потащут его в острог.

Наконец еврей, стоявший в каком-то тумане, заметил, что туман этот еще более усилился. В горнице стало темней, и он не сразу догадался, что стало действительно темней, потому что Позье уж завертывает футляр в бумагу, а канделябр потушен и в горнице снова горит только одна свеча.

– Ну, вот-с! – проговорил Позье. – Поблагодарите от меня его светлость или, может быть, и высочество – за заказ. А работой они будут довольны. Позье – честный труженик, артист в душе и постарался... *Cela dit tout!*¹³

И в помертвевшие руки Лейбы сунули что-то небольшое, четырехугольное. Он шелохнулся, судорожно стиснул пальцами этот предмет и, едва не пошатываясь, вышел в переднюю, вышел на улицу, сделал несколько шагов и как-то странно ахнул, точно проснулся. Он провел рукой по глазам, вдруг оглянулся на дом и наконец, будто придя в себя окончательно, бросился с места бежать во весь дух. Через несколько шагов какой-то прохожий остановился и так удивленно поглядел на Лейбу, что заставил его опомниться. Он вспомнил, что он в мундире преображенца, стало быть, офицер, дворянин, и что ему бегать по улице не приходится.

Через четверть часа Лейба был в квартире князя, а раскрытый футляр искрился и сиял на столе Тюфякина.

Лейба, сняв мундир, остался в камзоле и стоял молча и неподвижно. Лицо его было серьезно, почти угрюмо. Князь Глеб тоже как-то смущенно сидел у стола.

– Ну что ж, – выговорил он наконец. – Все слава богу. А снявши голову, по волосам не плачут. Ступай за деньгами.

Уже около полуночи Лейба появился снова в квартире князя, отсчитал ему две тысячи червонцев, принесенных в мешочке, взял бриллиантовый букет и, обернув в бумагу, положил в боковой карман.

– А футляр-то бросьте в Неву или сожгите в печи, – вымолвил он глухо, – да прикажите хорошенько размешать.

– Нет уж сам, душка Иудушка, возьму кочергу да размешаю. – С той минуты, что букет был в кармане Лейбы, а у князя на столе лежала куча одних червонцев, князь повеселел сразу.

«Они немеченые, их не Позье делал», – думал он, и князь радостно смеялся сердцем.

– Ну, прощай, князь, – выговорил Лейба, – не поминай лихом. Коли доберусь я счастливо до Кенигсберга, то, пожалуй, тебе и спасибо скажу. Ты все-таки честно рассчитался со мной и даже дал возможность мне нажать тысячу червонцев. Эта старая собака так работает, что я его букет вдвое дороже продам везде, и в Берлине, и в Вене.

– Вишь, как распутешествовался! – заметил князь.

– Да. Нам, честным евреям, везде дорога. Только в Россию уж не вернусь никогда. Ну, прощай, князь!

– Прощай, прощай, Иуда. Жаль мне тебя. Выйдут эти червонцы, не буду знать, где другие достать, – весело заговорил князь, провожая жида.

Лейба вышел в прихожую, надел шапку, достал свою палку в углу, постоял мгновение и наконец, полушутя, полуугрюмо, стал взмахивать и водить палкой, будто гладить ею по полу, причем несколько нагибался к полу.

Князь тотчас же узнал жест палача, секущего преступника плетью.

¹³ Не имеет значения (фр.).

– Ну, ну, авось обойдется, – рассмеялся князь. – Разве где после за другое что...

– Ну а словят меня на границе, то выдам. Вот мое последнее слово, – проговорил Лейба и вышел на улицу.

Тюфякин вернулся в свою горницу и спрятал деньги в комод, отделив одну кучку в особый угол.

– Жаль мне вас, – говорил он, – глядя на отделенную кучку, – только что получил – и вези к этим головорезам Орловым. Нужно было тогда в карты играть! Ну да черт с ними, даровому коню в зубы не смотрят. А дело будет шито да крыто. Не таков мой Иуда, чтобы попасться на дороге или где на границе государства. Он в игольные уши пролезет, не только через саженную заставу российскую.

Князь тотчас же пошел в кухню, притащил сам несколько полен и, бросив в печку малиновый, изящно отделанный футляр, покрыл его дровами.

«Красивая штука, даже жечь жалко!» – невольно подумалось ему.

Кое-как нашвыряв дрова, он достал лучину и зажег печку.

Дрова начали было гореть, но через минуту снова потухли, так как князь зря кучкой навалил их в печь.

– Ишь, не хотят гореть, поганые! – воскликнул он вслух и даже как-то особенно весело.

Чувство радости, что у него в комодке лежит целая куча червонцев, конечно, не покидало его ни на минуту. Князь был из тех людей, которые тогда и счастливы и довольны, когда у них деньги.

Он снова разжег лучину, и дрова наконец занялись большим пламенем. Он захлопнул дверцу печки и, чувствуя себя усталым от целого дня, проведенного в волнении, пошел к себе в спальню полежать.

Князь предполагал, несмотря на позднее время, все-таки отправиться прямо в «Нишлот», или «Немцев карачун», где он надеялся найти еще Гудовича или офицеров своего полка и где, следовательно, можно было весело провести всю ночь и, кроме того, отвлечь подозрения Гудовича. Но, вероятно, князь чересчур проволновался и устал, потому что едва прилег, как заснул крепким сном.

За полночь явился в его квартиру ленивый, вечно лохматый и замасленный с головы по пят его Егор и прислушался к храпу барина. Он двинулся в кухню, но по дороге, в темноте, споткнулся среди коридора на полено, выроненное князем, и удивился.

– Вишь ты, вздумал печку топить в этакую теплынь! Да еще сам! Теплота такая на дворе, а он замерз!

Освидетельствовав в кухне дрова, Егор недосчитался целой охапки. Он, конечно, тотчас же зажег огарок и тихонько отправился поглядеть, какую печку и как затопил барин. Перепробовав две или три печки руками, он наконец убедился, что все холодные.

«Что за притча! Не сожрал же он дрова!» – подумал Егор и начал лазить, открывая заслонки. Оглядев две пустые, в третьей он нашел дрова, опаленные пламенем.

Егор сел около печки, держа огарок в руках, и замотал презрительно головой.

– Вот не за свое дело-то браться! Нешто они будут гореть этак? Нашвырял зря да подпалил и думает – все тут. А сделай я это... Ругать! Э-эх вы!..

И праздному лакею пришел на ум вопрос:

«Что делать: растопить или повытаскать дрова обратно? Ведь теплынь на дворе... Лучше повытаскать да сбыть соседке кухарке за стакан водки...»

Через несколько секунд тихонько, чтобы барин не проснулся, Егор повытаскал все дрова на пол. Он далеко засовывал руку и вынимал осторожно полено за поленом. Но вдруг он громко ахнул и отдернул руку, точно будто его укусило что в печи.

«Что за леший?» – подумал он.

Под руку вместо полена попало что-то легонькое и вдобавок мохнатое. Он сунул огарок в печку и опять немножко ахнул: что-то красное лежало среди старой золы и черных углей.

Через мгновение, однако, страх прошел, а красивый малиновый футляр был у него в руках, и лакей, не зная еще, что делать, бежал с ним в кухню.

– Что за притча! – повторял он. – Что за баловство! Не по ошибке же барин бросил туда такой ларец, а нарочно сжечь хотел? А зачем? Да мало ли у бар какие затеи!

Как ни был глуп Егор, однако сообразил, что надо делать. Он спрятал футляр у себя в ларе, а сам, вернувшись в гостиную, как следует снова наложил дрова и зажег их.

Когда наутро князь Тюфякин проснулся, удивляясь, что он проспал всю ночь одетый, первая его мысль была о футляре.

«Ни единой ниточки не осталось!» – весело подумал он, оглядев горячую, истопленную печь.

XXXI

В последних числах апреля в доме посланника барона Гольца была суетня, шли приготовления к официальному вечеру, который он давал столице.

Предполагался бал-маскарад, на котором, конечно, должен был присутствовать государь, весь двор и все петербургское общество. Гольц праздновал мирный договор, подписанный государем двадцать четвертого апреля.

Этот мирный договор стоило отпраздновать прусскому послу и любимцу Фридриха. За весь XVIII век не было еще заключено такого мирного договора между двумя странами, какой сумел заключить молодой дипломат.

Король получал в подарок от императора почти половину своего королевства, уже завоеванного русскими, и, кроме того, приобретал надежного союзника во всех предполагавшихся политических затруднениях; потом получал тотчас двадцатитысячный русский корпус генерала Чернышева, который еще недавно бил и разбивал его генералов, а теперь должен был под командой короля бить своих прежних союзников; наконец, король имел в виду получить большую денежную сумму, превосходившую миллион.

Со своей стороны Фридрих не жертвовал ничем. По выражению государыни, он давал: «Le pavé de l'enfer en échange»¹⁴, так как известно, что «l'enfer est pavé de bonnes intentions»¹⁵. Фридрих обещал помочь сделать курляндским герцогом принца Жоржа, если оно будет возможно; уговорить Данию отдать русскому императору Шлезвиг, но если Дания не согласится, то... *avisér*¹⁶: помочь императору деньгами или войском, если он начнет какую-либо войну. Но таковой войны не предполагалось, так как вся немецкая партия в Петербурге, то есть именуемые «голштинцы», в этом вопросе сходились и были единодушны с партией «елизаветинцев». Избегнуть войны всячески было единственным пунктом неспорным. Никто во всей России, начиная от первых министров и сановников и кончая последним рядовым гвардии и армии, не желал войны. А влиятельный Гольц должен был еще всячески отговаривать русского государя по той простой причине, чтобы избавить своего повелителя от необходимости помогать союзнику.

Гольц за последние дни был особенно в духе, даже счастлив.

Он был, конечно, честолюбив в хорошем смысле слова и знал, что в скором времени договор Пруссии и России, его дорогое детище, заставит ахнуть всю Европу: обзовет Францию, удивит Англию, поразит в сердце Австрию – переполошит всю Европу. Он знал, что его имя в продолжение целого лета будет повторяться повсюду, будет на устах всех королей, министров, посланников и сановников всей Европы. Он как полководец дал и выиграл блистательное сражение. Этим трактатом он приобретал себе сразу славу и имя на дипломатическом поприще.

Всякий человек, решивший трудную задачу и отличившийся в глазах всех и своих собственных, конечно, счастлив, но когда к этому сознанию прибавляется еще сознание своей молодости, то юношеский пыл берет верх и герой счастлив, как ребенок. Если в настоящем уже много... то сколько еще впереди!..

Гольц сознавал свое превосходство перед всеми европейскими дипломатами, вспоминая, что ему еще только двадцать шесть лет! Он знал, что король Фридрих не такой человек, чтобы не понять и не оценить его громадной заслуги перед отечеством. Гольц ожидал с часу на час всевозможных наград: и повышение в чине, и звезду, и деньги, и графство, о котором мечтал.

¹⁴ В обмен на дорогу в ад (*фр.*).

¹⁵ Дорога в ад вымощена добрыми намерениями (*фр.*).

¹⁶ Поразмислить (*фр.*).

Одним словом, красивый и элегантный барон был счастлив, весел и доволен, как ребенок. Когда он вспоминал, как просто устроил он все дело, то ему становилось даже смешно.

Съезди все послы с визитом к Жоржу, то государь не отказывал бы им два месяца в аудиенциях и они не прозевали бы трактата. Все резиденты, и английский Кейт, и французский Бретейль, и австрийский Мерсий, сидели по своим норам и переписывались с кабинетами, а он в это время курил вонючий кнастер, дружился со всеми, ухаживал, давал займы и дарил...

«А букет Воронцовой! – вспомнил Гольц и невольно усмехнулся. – Всего-то пять тысяч червонцев, а из-за них приобретается бог весть что». Да вдобавок и деньги-то не его личные и могли бы, как у многих резидентов иностранных, уйти на наем разных шпионов и тайных агентов, которые эти деньги прокучивают и не служат никакой помощью для их наемщиков.

Гольц призвал одного из своих секретарей и дал ему словесное поручение – отправиться к Гудовичу и спросить у него, получена ли вещь, ему известная, передана ли по принадлежности и довольны ли ею.

Через час секретарь вернулся назад и объяснил, что господин Гудович никакого ответа не дал, а обещал тотчас же приехать сам.

И вслед за секретарем явился Гудович, встревоженный, и объяснил Гольцу простую вещь: карточку с рисунком он потерял, проискал ее целый день повсюду, не нашел и послал доверенное лицо, князя Тюфякина, который, конечно, не разболтает ни слова, предупредить бриллианщика, чтобы он не давал вещь никому, куда лицо, заказывавшее букет, не явится лично за получением. Оказалось, что Позье накануне вечером отдал букет преображенскому офицеру, а карточку получил и в доказательство передал ее обратно. Гудович вынул разрисованную игральную карту, которая прошла столько рук, и передал ее Гольцу.

– Стало быть, вместо бриллиантового букета я получаю нарисованный! – рассмеялся Гольц немножко насмешливо. – Одним словом, украли. Не скажу, чтобы это мне было очень приятно.

И барон с досадой отошел от Гудовича к окну и стал барабанить по стеклу, насвистывая какой-то марш.

«Пять тысяч червонцев, – думал Гольц, – сумма большая, и подарить ее какому-нибудь мошеннику крайне неприятно. Сам виноват! Надо было попросить взять вещь графиню Скабронскую, а не этого тюленя. Потерял?! Черт его знает!.. Все вы тут хороши!»

И барон стал расспрашивать Гудовича о подробностях, но тот мог только повторить снова то же самое: карточка им была потеряна, найдена кем-нибудь, вещь законным образом получена, и следов никаких.

– Но позвольте! – воскликнул вдруг Гольц. – Нашедший карточку святым духом узнал, что по ней можно получить бриллиантовый букет?! И именно у Позье?! Стало быть, вы рассказали многим, что это за карточка?

Гудович сознался, что пил в трактире и болтал о карточке. Какой-нибудь лакей мог слышать.

«А может быть, и офицер!» – подумал Гольц, но, разумеется, этого не сказал.

Гудович прибавил, что так как он в этом деле кругом виноват, то будет просить государя выдать ему из собственных денег необходимую сумму, которую он возвратит барону. Гольц на это, разумеется, не мог согласиться.

– Нет, это невозможно. Но я буду только просить государя приказать Корфу взяться усердно за это дело и искать вора.

Гудович уехал, а Гольц немедленно отправился к графине Скабронской спросить ее мнения, рассказать ей все и попросить купить поскорее что-нибудь другое.

Маргарита, разумеется, ничего не знала: ее дело было только передать барону полученную карточку.

Посидев у графини, побеседовав с ней, расспросив ее о том, что говорят в Петербурге о мирном договоре и о нем самом, Гольц развеселился и забыл думать об украденной сумме.

– Главная беда, – сказал он, – не в том, главная беда, что мне теперь нечего ко дню маскарада поднести Воронцовой. У Позье, наверное, нет ничего готового свыше каких-нибудь трехсот червонцев.

Маргарита согласилась с этим, но затем, покуда Гольц продолжал рассказывать ей о своих приготовлениях к балу, Маргарита задумалась и соображала что-то. Наконец как бы пришла в себя и вымолвила:

– Хотите у меня купить бриллиантовую брошь, только что переделанную заново тем же Позье и которая мне не нужна? Мы ее свезем к нему, оценим, и вы возьмете.

Гольц с радостью согласился.

Когда он уехал, Маргарита позвала свою любимицу и весело объявила ей:

– Ну, Лотхен, опять деньги есть! Одну вещь из дедушкиных продала.

– Это все прекрасно, *liebe Gräfin*, но когда же вы заплатите дедушке за эти все бриллианты? – выговорила Лотхен, насмешливо и двусмысленно усмехаясь.

– Не скоро, Лотхен. И по правде сказать тебе... я буду откладывать и тянуть дело до тех пор, покуда не наступит час, в который мне можно будет совсем не платить!

– А разве такой час наступит? Не верю.

– Верь, Лотхен.

Горничная помолчала и выговорила, смеясь:

– Ну а сержант?

– Ну, об этом не смейся. Это не шутки! – как-то странно произнесла Маргарита, задумчиво и грустно.

Лотхен вытаращила глаза и чуть-чуть пожала плечами.

XXXII

Первого мая в сумерки в доме прусского посланника волнение и движение усилились.

К семи часам весь большой дом горел огнями, и светлые лучистые столпы выливались из окон, освещая, как днем, широкую улицу. Кроме того, около подъезда и вокруг всего дома горели плошки и бочонки со смолой.

Взводы гвардейских солдат от разных полков в красивых новых мундирах стали появляться под командой капралов и сержантов, и их расставляли часовыми на улице, у подъезда, в передней, на широкой лестнице и до дверей самой приемной. Это было сделано по приказу государя в знак особого почета к любимцу и посланнику нового союзника-короля.

На большой лестнице, украшенной гирляндами и венками и покрытой красным сукном, преображенный сержант расставлял часовых из своего взвода и двоих из них поставил у самых дверей, ведущих в приемную. Сержант был Шепелев, а один из рядовых, которого он умышленно поставил не в передней и не на лестнице, а на том месте, где будет видно всех гостей, был Державин. Но оба друга, сержант и рядовой, были как-то грустны. Шепелев был немного бледен и снова почти в таком же состоянии, как когда-то до своего свидания с Маргаритой у гадалки.

Державин был тоже грустен. Перевод его в голштинцы все не ладился с Великого поста, а на дворе уж май месяц. Вдобавок хотя он и любил своего ученика, но невольно стал теперь завидовать ему. Этот добрый малый ничем, конечно, не отличался, был такой же рядовой, как и он, а теперь, перескочив через чины капрала и унтер-офицера, попал прямо в сержанты бог весть за что, по какой-то странной, никому в полку не понятной случайности, по капризу принца Жоржа.

«И вот вся жизнь так пройдет, – думалось рядовому Державину с ружьем на плече, когда он глядел на товарища сержанта со шпагой. – Одному везет, а другому нет. Почему одному везет и почему другому не везет – сама матушка-фортуна не знает».

Бал-маскарад у прусского посланника, объявленный за три дня перед тем в городе, то есть вскоре после тайного подписания мирного договора, наделал много шума в столице.

«Голштинцы», и русские и немецкие, конечно, ликовали. Этот маскарад был видимый признак, что на их улице праздник.

Партия «елизаветинцев», конечно, негодовала, всякий со своей точки зрения. Одни говорили, что со смерти покойной императрицы прошло только четыре месяца, что это своего рода скандал. Другие прибавляли, что Гольц мог бы сделать простой бал, но на смех делает маскарад прежде, чем кончился траур по государыне, бывшей всю жизнь врагом Фридриха.

Многие являлись к государыне спрашивать, поедет ли она. Екатерина Алексеевна не отвечала ни да, ни нет, но в уме давно решила в этот день заболеть и остаться дома.

Многие, как Разумовские и вообще близкие люди покойной императрицы, чувствовали себя оскорбленными и тоже обещались захворать и не быть в маскараде.

Но за день до первого мая прошел по лагерю «елизаветинцев» как бы пароль: всем быть в маскараде.

Один из самых молчаливых на вид и ленивых офицеров кружка Орловых, Пассек, был в то же время самым благоразумным, осторожным и тонким.

Пассек был особенно близок и дружен с княгиней Дашковой и чаще других бывал у нее. И она и он рассудили, что не быть в маскараде прусского посланника – значит дать возможность врагам пересчитать и, так сказать, пометить всех главных лиц неприязненного лагеря. Дашкова, конечно, передала это государыне. В тот же вечер не известными никому, но, конечно, известными государыне путями весь лагерь «елизаветинцев», явных и смелых, осторожных и боязливых, получил как бы приказ готовить костюмы и мундиры и ехать к Гольцу.

И теперь не только те, которые хотели умышленно захворать, стали собираться на бал, но даже и те, которые действительно хворали, также поехали.

В восемь часов уже начался шум на улице, крики кучеров и фореиторов, солдат и полицейских, гром копыт и колес по мостовой; гости начали съезжаться.

Гольц встречал всех в дверях, отделявших большую, украшенную зеленью и венками лестницу от прихожей, где на двух стенах, один против другого, висели два щита с двумя государственными гербами – прусским и российским.

И здесь сержант Шепелев, приглашенный любезно Гольцем находиться в самой прихожей в качестве дежурного, мог видеть весь высший столичный круг.

Здесь в час времени прошли все министры, послы, фельдмаршалы, сенаторы, все красавицы и львицы. Все пожилые люди были, конечно, в своих мундирах, но молодые женщины и многие офицеры гвардии были в костюмах.

И под звуки огромного оркестра на хорах весь щегольской дом Гольца переполнился блестящей, сияющей, даже сверкающей, как радуга, всевозможными цветами, шумной и гулливой толпой. Многие были просто костюмированы, другие в масках. Большая часть проходивших с замаскированными лицами тайком и быстро показывали лицо свое хозяину дома из вежливости, как бывало принято, или же просто знаком, двумя словами знакомого голоса как бы называли себя. Часто Гольц не мог расслышать голоса встречаемых, но делал вид, что узнает... Отчасти в глазах его начинало уже рябить от этой вереницы пестрых костюмов и мундиров, отчасти и музыка мешала, и гул голосов беседующих гостей, который смешивался с музыкой и иногда даже заглушал звуки литавр и труб.

Шепелев стоял у стены невдалеке от входных дверей и глаз не спускал с порога, где красивый посланник принимал гостей. Ему казалась странной та случайность, что именно его было приказано послать по наряду дежурным на бал к этому единственному человеку во всем Петербурге, которого он всем сердцем, всем юношеским пылом ненавидел и проклинал.

Он был убежден, что это его счастливый соперник; не будь его на свете, быть может, «она» не обошлась бы с ним так, как обошлась в последний раз в квартире Позье. И что за каприз сказать, что она даже не графиня? Шепелев уже после сообразил, что она могла скрывать свое имя от Позье, что он сделал нескромность. Но почему же она не пустила его к себе? Почему обошлась так гордо и глядела на него так презрительно, таким оскорбительным взглядом? Наверное, он, этот Гольц, – его счастливый соперник! Он чувствовал, что глубоко ненавидит этого человека, а между тем эта ревность, эта ненависть казалась для него самой глупой и смешной. Что общего между ним, юношей сержантом, и этим молодым красавцем, который уж теперь первая личность двух стран, важное государственное лицо в Пруссии и, по общему отзыву, теперь самое влиятельное лицо и в русском государстве?!

– Он любимец Фридриха Второго и Петра Третьего, а я любимец... Квасова! – грустно шутил юноша.

И в Шепелеве совершалась томительная борьба, сказывавшаяся какой-то острой болью на сердце, какою-то страшной тягостью в голове, во всем существе. Пускай бы она не любила его! Он не стоит любви такой женщины! Что он такое? Мальчишка! Но она любит вот этого! За что? За то лишь, что он посланник.

И юноша постоянно то и дело как бы забывался, стоя близ стены прихожей. Вереницы ярких костюмов и масок вились перед его глазами, но он почти не глядел на них. Изредка рука его, державшая обнаженную шпагу, судорожно стискивала эфес, и глаза впивались в фигуру элегантного и красивого хозяина дома в блестящем мундире.

Если бы Гольц имел время обернуться на юношу-дежурного с обнаженной шпагой в руке, и заметить его взгляд, то, конечно, несмотря на свои заботы, он бы все-таки удивился...

А между тем сержант не мог оторвать взора от дверей еще по другой причине. Он каждую минуту ожидал появления именно той, от которой так мучился и страдал. Он знал наверное, что графиня Скабронская будет в числе приглашенных дам как близкий друг хозяина.

Наконец на несколько минут вереницы гостей, входивших по лестнице, гром и гул подъезжавших экипажей вдруг прекратились... Все съехались.

«А ее нет!» – думал Шепелев. Но он утешался мыслью, что и государь еще не приехал. Разумовских еще нет, Воронцовой еще нет.

Гольц заметил перерыв в съезде гостей и обрадовался возможности отойти от дверей и отдохнуть. Так как каждое слово его в этот вечер могло быть замечено, рассказано, перетолковано, то он решил заранее почти не говорить ни с кем из высших сановников в отдельности, то есть без свидетелей, и вообще мало говорить под предлогом хлопот хозяина.

Теперь, в свободную минуту, он заметил в той же прихожей будто стерегущих его: фельд-маршала Трубецкого, Глебова и нового врага своего, на днях побежденного им, тайного секретаря государя, Волкова. Он догадался, что они хотят с ним заговорить, но очень ловко парировал светское нападение врага.

Гольц, увидев юношу, отошел к нему и стал говорить с ним будто бы о деле. В действительности он спрашивал, делает ли Преображенский полк успехи в экзерциции, многие ли офицеры говорят по-немецки, как солдаты приняли новую форму.

При этом посланник глядел на юношу-сержанта так, как стал бы смотреть на кресло, стол или канделябр.

Конечно, Шепелев, хотя не привыкший к светским приемам, все-таки понял, что посланник говорит не с ним лично, а что ему нужен какой-нибудь предмет. Он отвечал кратко, слегка смущаясь, но не столько от неловкости, сколько от горького чувства на сердце.

Не успел он ответить две или три фразы посланнику, как в дверях показалась новая маска. Ее нельзя было бы не заметить в целой толпе ряженных: костюм ее бросался в глаза.

После вереницы костюмов и мундиров, которые отчасти ослепили глаза, новая гостыямаска являлась отдыхом для глаз.

Гольц, заметя, что юноша зорко смотрит в дверь, обернулся и тоже удивился.

К нему шла тихо монашенка-кармелитка. Весь костюм ее состоял из длинной и простой рясы до полу из белого кашемира. Большие рукава спадали до пальцев, закрывая даже на половину ее белые перчатки. Большой капюшон был собран складками на голове и спускался прямо на лоб и на белую атласную маску с золотым кружевом, слегка закрывавшим рот и подбородок. В талии эта ряса была схвачена серым шелковым шнуром, очень искусно изображавшим простую веревку. На этом отшельническом кушаке были перекинута белые перламутровые четки с медалькой на конце.

Костюм этот был даже не костюм; толстые складки матового кашемира так закрывали эту женщину, что не было никакой возможности догадаться, молода ли она, стара ли. Во всяком случае, не было ни малейшей возможности узнать, кто она.

Но странное дело. Случилось то, что случалось в подлунном мире во все века и будет случаться вовеки впредь. Юноша-сержант или, лучше сказать, его влюбленное, томящееся сердце узнало, кто эта маска. Едва появилась эта кармелитка, и переступила порог, и двинулась к нему вся тщательно укутанная с головы и до носков белых башмаков, Шепелев уже знал наверное, чувствовал, что это Маргарита.

Посланник, вероятно, не был влюблен в Маргариту, потому что подошел к гостье, протянул ей, вежливо кланяясь, руку, но глаза его говорили: скажитесь.

– Что? Вы меня не узнаете?

И, благодаря замолкшей музыке, благодаря чуткому настроению Шепелева, он ясно слышал голос Маргариты.

Гольц узнал тоже голос, ахнул и выговорил по-немецки:

– Но что значит этот костюм?

– Это мой каприз, а отчасти необходимость. Вы получили мою записку? Комната приготовлена? Спасибо. И я полная там хозяйка, хоть бы до утра?..

И на утвердительный ответ графиня прибавила:

– Ну, покажите ее мне, чтобы я знала заранее, где она.

Гольц тотчас же подал графине руку и повел ее во внутренние комнаты, но при этом взял не налево, где была большая гостиная, потом бальная зала, переполненная гостями, а направо, где были две маленькие гостиные, а за ними его собственные апартаменты.

Сердце дрогнуло в юноше, он снова стиснул свою шпагу и почувствовал, что слезы готовы выступить у него на глазах.

Комнату до утра?! Отдельную комнату?! На бале, в маскараде! Зачем?! Это низость! Ведь на это способны те женщины, про которых рассказывал ему Квасов. И это красавица высшего общества!

И юноша до такой степени был поражен, что у него руки и ноги стали дрожать. Он невольно вышел на лестницу и опустился на стул около часового Державина, закрывая глаза рукой, чтобы отереть позорные слезы и прийти в себя.

– Что ты? – шепнул ему приятель-рядовой.

– Ничего! – глухо отозвался Шепелев. – Ничего, ничего! – повторил он. – Вернусь домой – я это кончу!

– Что? – недоумевая отозвался тот.

– Все, все это кончу. Надо кончить: так жить нельзя!

Приятель что-то спросил, но он не имел даже силы отвечать.

– Встань, голубчик, – выговорил вдруг Державин шепотом, – гетман идет.

Шепелев через силу поднялся и увидел, что по лестнице поднимается граф Кирилл Разумовский в красивом гетманском мундире; с ним вместе шел его друг и бывший воспитатель Теплов. Сержант быстро двинулся снова в прихожую и стал на прежнее место.

– Отчего же ему не праздновать и не раскошелиться, – шептал гетман Теплову, – когда целое государство подарили да миллион в придачу? Бал дешевле стоит!

Гетман прошел, за ним прошли еще два сенатора, затем прошел Панин. Все они искали глазами Гольца.

«Да, ищи его! – злобно усмехнулся Шепелев. – Ищи!» – И он чуть-чуть встряхнул своей шпагой. Невольно ему почудилось, что он бы мог с наслаждением, особенно благодаря последним урокам фехтования, беспощадно пронзить Гольца двадцатью ударами.

В то же самое мгновение хозяин дома появился один, быстро огляделся, увидел несколько новых гостей, которых опоздал встретить, и пошел здороваться и извиняться.

Тотчас же образовался около него кружок, и здесь, при нескольких свидетелях зараз, Гольц менее боялся говорить. Но и тут счастье помогло ему. Не прошло пяти минут, как в приемную вошла новая костюмированная гостья без маски. Многие двинулись, прерывая беседу, Гольц бросился навстречу к даме и, кланяясь, стал всячески благодарить за честь и любезный сюрприз. Это была Воронцова, и слова Гольца относились к ее костюму. Елизавета Романовна оплачивала за брошь, полученную поутру, и явилась в костюме, который был скопирован с портрета Фридриха. Это был, в сущности, прусский мундир с прибавлением белой атласной юбки. Золотисто-желтый атласный камзол, вышитый серебром, красный кафтан из бархата, черный галстук на шее, а на голове фридриховская треуголка с белым атласным бантом, на котором и красовалась полученная брошь.

XXXIII

Около получаса простоял Шепелев, в подробностях обдумывая, как он, вернувшись в казармы, попробует убить себя.

«Не хватит храбрости, – думалось ему, – но попробую, все-таки попробую. Может быть, как-нибудь нечаянно сам себя обману. Буду говорить, что только ради пробы, ради шутки, и как-нибудь вдруг застрелюсь или зарежусь».

– Господин сержант! – раздался около него голос, от которого вся кровь хлынула у него к сердцу и к лицу. – У меня до вас большая просьба... – говорила стоящая перед ним кармелитка, но уже без маски, которую она держала в руке.

Шепелев едва двинул губами, все чувства его онемели, а сердце стучало настолько, что казалось, даже она заметила это по галуну и пуговицам, которые равномерно вздрагивали на его груди.

И кармелитка сделала движение рукой, совершенно закрытой длинным рукавом, как бы приглашая юношу отойти к окну вместе. Сделав несколько шагов, она стала ближе к нему и выговорила:

– Вы здесь должны быть весь вечер на часах?

– Да-с, – через силу вымолвил Шепелев.

– В таком случае вы исполните мою просьбу. Очень важную просьбу! Гораздо более важную, нежели она вам покажется, нежели вы думаете. Сегодня здесь будет на бале, должна быть каждую минуту, одна замаскированная гостья, недавно приехавшая прямо из Вены и не знающая никого в Петербурге, незнакомая даже лично с господином посланником, хотя и приглашенная им сегодня. Если я или барон будем в эту минуту здесь в дверях, то моя просьба к вам окажется излишней, но если ни меня, ни барона не будет, то я прошу вас провести эту даму. Она предупреждена и двинется прямо за вами. Вы, идя перед ней, незаметно проведите ее к посланнику и, найдя его среди гостей, знаком укажите ей. Поняли вы меня?

– Понял. Это я понимаю! Но зато, кроме этого, я ничего не понимаю, – выговорил Шепелев, немного придя в себя. – То, что для меня вопрос жизни и смерти, того я не понимаю. Неужели вы, графиня...

– Ну, об этом после, – резко выговорила она. – Теперь не время, и я... Вы поняли мою просьбу?

– Да-с.

– А как вы узнаете ту даму, про которую я говорю? – рассмеялась кармелитка.

Шепелев подумал и вымолвил неохотно и даже с оттенком грусти в голосе:

– Да, правда. Как же мне узнать ее?

– Я вам скажу ее костюм. Ее заметить будет немудрено. Она явится на этот яркий и пестрый бал, как пятно.

– Признаюсь, не понимаю.

– Да. Ее костюм будет... среди других, как черное чернильное пятно среди белой бумаги.

Юноша не понял. Маргарита повторила:

– Она явится в черном с головы до ног. Понимаете?

– Понимаю-с.

– Ошибиться мудрено, я надеюсь...

– Мужчины, графиня, вообще не ошибаются, как может ошибиться женщина, – грустно выговорил Шепелев. – Женщина, в особенности красавица и кокетка, может ошибкой дать даже поцелуй.

– По ошибке поцелуя не дают, а дают иногда... из жалости! – рассмеялась Маргарита.

– За это, право... – вдруг глухо выговорил Шепелев. – Право, можно зарезать...

– Тут, на бале... Полноте... Вот и видно: ребенок. Да неужели вам не жалко было бы убить женщину, которую вы любите?.. И как любите! Ведь вы говорите, что умираете от любви.

И Маргарита звонко расхохоталась, но немного искусственным смехом.

– Пошадите, графиня... – упавшим голосом вымолвил Шепелев.

– Ну, так помните, не спутайте. Окажите эту милость для меня. Исполните как следует мою просьбу об маске.

И Маргарита, весело и беспечно смеясь, отошла от Шепелева и прошла в бальную залу. Он был возмущен до глубины души ее словами, и голосом, и смехом.

«Понадобился на то, на что годился бы всякий лакей в доме, – озлобленно подумал он. – Господи! Неужели уж нельзя перестать любить ее? Бросить, забыть... Ну, влюбиться в другую! Она жестокосердая, злая... Ей все только смех... Может быть, здесь, на бале, человек сто, которых она так же целовала, как и меня».

И долго размышлял юноша. Ему, конечно, доставила наслаждение возможность поговорить с ней хотя минуту, но едкое, горькое чувство как будто еще прибавилось. Она насмеялась над ним. Понятно, она даже явилась из такой комнаты, где может остаться до утра, которую почему-то заготовил ей заранее хозяин дома. И Шепелев вдруг злобно рассмеялся.

В эту же самую минуту в зале и прихожей началось маленькое волнение.

Гольц двинулся снова к дверям лестницы, но спустился по ней донизу, а вслед за ним хлынула и пестрая, блестящая кучка сановников. И через несколько минут прихожая и вся лестница были полны вышедшими навстречу гостями. Только узкое свободное пространство оставалось по лестнице. Приехал государь.

Шепелев на минуту забыл свое горе. Он редко и издали видал государя, и ему хотелось теперь не упустить этого единственного случая видеть русского монарха не на коне, не на плацу, а простым гостем на бале.

Через несколько минут государь, взяв под руку Гольца, поднялся по лестнице, весело кивая головой направо и налево, изредка подавая руку, преимущественно старикам и иностранным послам. За ним вслед поднимался по лестнице принц Жорж, а за Жоржем непрерывный хвост его, всей гвардии ненавистный Фленсбург. Все прошли в залу. Грянула музыка, и начался менуэт.

Тотчас же стало известно на бале, что государыня хворает и быть не может.

Шепелев, занятый своей заботой, все-таки невольно заметил после этой вести много сияющих и торжествующих лиц. Вскоре мимо него прошли и стали невдалеке два сановника. Шепелев знал, что один – воспитатель наследника, а другой – наперсник и друг братьев Разумовских. Эти два человека считались во всем Петербурге самыми умными и самыми образованными, учившимися за границей. Юноша слышал даже, что Панин, не любимый императором, считался в лагере «елизаветинцев» и был в числе явных друзей императрицы. Он слышал тоже, что Теплов «голландец», горячий и искренний приверженец императора, друг всем немцам, ибо говорит великолепно по-немецки и воспитывался в германском университете. Шепелеву было даже интересно поближе рассмотреть Теплова, так как говорили, что оба графа Разумовские у него в руках и делают, что он прикажет. Если бы не этот Теплов, то Разумовские, по словам Квасова, были бы еще более любимы в столице, но теперь их стали любить меньше, потому что Теплов заставил их тоже сделаться чуть не «голландцами».

Идя мимо и не обращая внимания на сержанта, Панин горячо воскликнул:

– Однако ж позвольте, Григорий Николаевич. Положим даже, что она и не захворала, положим, что ей не захотелось быть на этом торжище, где празднуется позор Российской империи. Наконец, вспомните, что сегодня только четыре месяца и одна неделя, что скончалась государыня. Можно было бы пообождать скоморошествовать и всякие дурацкие костюмы напяливать на себя.

– Не согласен, Никита Иванович, – спокойно отозвался Теплов. – Вы знаете мой образ мыслей насчет всего этого. Договор этот я не считаю позорным: у нас будет надежный союзник. Земли мы ему отдали назад такие, которыми владеть бы не могли, которые никогда российскими бы не сделались. Что касается до болезни ее величества, то скажу даже с вашей и ее точки зрения: нехорошо мелочами раздражать государя и общественное мнение. Что стоило сюда приехать, когда здесь вся столица, и здесь, наконец, сам Разумовский Алексей Григорьевич, которому, как вы знаете, покойная государыня тоже была не чужой человек, – многозначительно и налегая на последние слова, выговорил Теплов. – Ему еще тяжелее в его трудном положении через четыре месяца на этом плясе быть, однако приехал.

Шепелев заслушался было беседы двух сановников, говоривших такие слова, которые редко удавалось слышать простому сержанту. Если бы они знали, что сержант их слушает и понимает, то, конечно, понизили бы голос. Тайная канцелярия и «слово и дело», еще недавно уничтоженные, были еще всем памятны. А в канцелярии не разбирали, кто простой человек, хотя бы даже разносчик, и кто сановник, хотя бы даже фельдмаршал.

И Шепелев напрягал свой слух, чтобы слышать окончание беседы...

Но в эту минуту он вдруг ахнул. Поручение той, которая могла все приказать, могла приказать даже умереть... это поручение приходилось теперь исполнить.

В дверях приемной появилась маска. Шепелев двинулся, да и не он один! Все бывшие недалеко от него и даже спорящие Панин и Теплов – все обернулись и двинулись вперед... и смутный гул одобрения, если не восторга, сорвался у всех с языка. Все ахнули, любуясь.

XXXIV

На пороге стояла стройная и грациозная женщина, вся в черном. Она казалась не маской, а привидением. Вся она с головы до ног была окутана в легкий и прозрачный черный газ. На черных как смоль волосах лежала бриллиантовая диадема с большой яркой звездой, из-под которой падал длинный газовый вуаль. Охватив ее всю, как легкое черное облако, он лежал прозрачными волнами на обнаженных плечах, вился по изящному бюсту, сбегал, ниспадая по платью, до полу, и, отлетая назад, развевался за нею над шлейфом, змеей лежащим на паркете. И вся она была осыпана звездами, от буклей прически до башмаков. По юбке рассыпались семь больших звезд в сочетании Большой Медведицы. На вырезанном вороте корсажа, окаймляющем грудь, горит самая яркая звезда, а у пояса, под сердцем, на черном атласном корсаже, плотно обхватившем ее пышный бюст, лежит, покачнувшись и грациозно прильнув к груди, большой сияющий полумесяц. Лунный серп вспыхивает и сверкает... и бьющая волна его света, пронизывая облако газа, обдает алмазным сиянием и всю ее черную фигуру, и все окружающее. И под легкими черными волнами газа снежно белеются, как изваяние, изящные обнаженные плечи и руки, не разделенные рукавом. Только две черные ленты с двумя бриллиантовыми звездочками на бантах отделяют руки от плеч.

Черная маска с плотным кружевом чересчур тщательно скрывала все лицо ее от диадемы на лбу до горла. Лица не существовало, и вместо него была немая мертвая личина, ничего не говорящая, но зато лучистый огонек будто вспыхивал в отверстиях маски, где сверкали два глаза, такие же черные и такие же блестящие, как и вся эта костюмированная «Ночь». Но тот, кто видел теперь эти плечи и руки, как изваянные из белого мрамора, тот ни мгновения не поколебался бы решить, красавица ли эта явившаяся незнакомка или нет.

Шепелев, подобно всем, и даже более всех, стоял как бы под обаянием изящного костюма, эффектно идущего вразрез со всеми остальными.

«Она явится, как чернильное пятно на белой бумаге», – вспомнил он слова Маргариты. Нет, это не пятно. Она явилась сюда, как таинственная, сияющая звездами ночь, которая больше говорит сердцу, более пленяет его, чем самый светлый и сверкающий солнцем день.

Но незнакомка знала, что делала. Она знала, что, когда пройдет, все сотни глаз будут следить за ее змеино выющимся шлейфом! Она знала, что ей неопасно закрыть лицо, что ее бюст, ее плечи и руки скажут о лице! И скажут больше, чем, быть может, сказала бы оно само за себя! Неведомое всегда чарует человека и всегда очаровательнее того, что он знает и видит...

Шепелев, смущаясь, двинулся к вошедшей, наклонился, хотел что-то сказать. Но, вспомнив, что говорить ничего не нужно, он пошел снова вперед и только косо оглянулся, чтобы видеть, идет ли она за ним.

Она идет. Все взоры выстроившихся рядом сановников, как если бы снова государь проходил, пристально, невольно следят за нею, и, конечно, не чувство почтения приковало теперь их глаза.

Да и впрямь, если это был не монарх, не государыня, то это была тоже царица, но иная... Царица бала. Царица, всегда за все века, всюду провозглашаемая молчаливым, но единодушным решением общественного мнения. И если это царствование кратко, продолжается одну ночь, то всякая, бывавшая хоть раз царицей большого блестящего бала, до старых лет помнит это, передает и детям и внукам как событие в жизни, как собранную дань с побежденного, как дорогую и светлую минуту. И это воспоминание самое отрадное! Всегда сладко и тепло сказывается оно на сердце какой-нибудь седой, уже морщинистой бабушки!..

Шепелев прошел несколько шагов по зале, увидел Гольца и приблизился к нему, ни слова не говоря и только оглядываясь на «Ночь», каким-то фантастическим видением скользящую за ним по паркету.

Гольц обернулся, сделал движение, выдавшее его удивление, и затем – как показалось Шепелеву – со странным двусмысленным выражением лица быстро подошел к незнакомке и сказал ей громко по-немецки:

– Прошу считать меня вашим давнишним знакомым, даже другом. Прошу вас здесь быть как дома. Я с нетерпением ожидал вас... Прежде всего я позволю себе испросить сейчас позволения у государя представить ему «Ночь», а затем и познакомить с «Ночью» некоторых гостей.

– Благодарю вас за честь быть представленною его величеству, – вымолвила «Ночь» голосом, который показался проходившему мимо нее Шепелеву странным, будто искусственным.

Ему показалось, что костюмированная незнакомка нарочно изменяет свой голос. Он приостановился невольно, хотя не имел на это права, и расслышал еще фразу:

– Помимо государя, барон, я могу в качестве маски говорить с кем хочу, не будучи знакома? И мне широкое поле интриговать, так как я приезжая, не могу быть узнана.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.